

**ПАМЯТИ**  
**Марка Наумовича**  
**БОТВИННИКА**



Санкт-Петербург  
1997

**ПАМЯТИ**  
**Марка Наумовича**  
**БОТВИННИКА**



Санкт-Петербург  
1997



# I

## ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ И ОЧЕРКИ М. Н. БОТВИННИКА



## ИЗ ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ МЕГАР

В исследованиях по истории Древней Греции установилась традиция основное внимание уделять Афинам и Спарте. Это объясняется тем, что в период расцвета Греции оба полиса занимали ведущее положение и их история лучше всего освещена литературными источниками. Даже до находки «Афинской политики» Аристотеля материал по древнейшей истории Афин был настолько обширен, что Ф. Энгельс, еще в 1884 г. воссоздавший на примере распада родового строя в Афинах классическую картину процесса возникновения государства, считал возможным написать, что «...мы в достаточной степени осведомлены обо всех существенных подробностях образования этого государства».<sup>1</sup>

Значительно менее исследована история остальных греческих полисов, хотя до VI в. до н. э. и в период «великой колонизации» они играли в жизни Греции значительно большую роль, чем Афины, а внутреннее их развитие во многом предвосхитило тот путь, по которому Афины пошли впоследствии.

Таким именно государством был в VIII–VII вв. до н. э. город Мегары, ближайший сосед Афин, успешно соперничавший с ними в период колонизации.<sup>2</sup>

Однако пока не установлены даже в самой общей форме основные вехи образования и развития Мегарского государства, попытка определить влияние Мегар на соседние полисы едва ли может быть успешной.

Для древнейшей истории Мегар почти нет письменных источников. Но сохранившиеся фрагменты традиции в сочетании с археологическими данными позволяют начать исследование предпосылок, приведших к возникновению государства в Мегарах.

Основными литературными источниками для ранней истории Мегар являются Страбон, Павсаний и Плутарх<sup>3</sup> – писатели, отделенные от интересующего нас времени почти целым тысячелетием. Они, без сомнения, были знакомы с афинской исторической школой, претендовавшей на общегреческое значение, а также с восходящей к глубокой древности местной мегарской традицией. Особенно интересен для нас с этой точки зрения Павсаний. Главы, посвященные Мегарам, находятся в самом конце первой книги, отведенной описанию Аттики. Влияние афинской исторической школы явно чувствуется в том, что в историю Мегар включены афинские легенды о Пандионе, Тесее, Кодре и других, и самое главное, в характерном для афинской исторической школы утверждении, что некогда пелопоннесцы отобрали Мегары от Афин (I, 39, 4). Хотя Павсаний повсюду отдает предпочтение афинской версии (например, I, 41, 4–6), но все же он уделяет много места и мегарской традиции. В этом и заключается ценность его труда для истории Мегариды. Имен местных историков, использованных им, Павсаний ни разу не приводит. Он называет их просто «мегарцы», а в одном месте (I, 41, 2) он сообщает, что источником его сведений был местный проводник.<sup>4</sup> Однако при изложении исторических взглядов «мегарцев» Павсаний приводит хронологические выкладки (I, 39, 6), которые он вряд ли мог бы запомнить, если бы слышал их в устной передаче. Это показывает, что Павсаний черпал свой материал у местных ученых, а не у случайных проводников – «экзегетов».<sup>5</sup> Наличие специальных сочинений по истории Мегар, так называемых *Μεγαρικά*, засвидетельствовано рядом авторов, и нам даже известно несколько имен их составителей: Праксион, Диевхид, Герей, или, как его иначе называют, Герагор. Время их жизни относится к IV в. до н. э.<sup>6</sup> Ценность местной мегарской традиции состоит в том, что она своими корнями уходит в устное эпическое творчество, о чем мы узнаем из того же Герей [FGrH, III В., фрагмент II (3)]. Есть все основания полагать, что материал местной мегарской традиции, восходящий к глубокой древности, был обширен, во всяком случае он был достаточен для составления «Мегарской политики» Аристотеля, упоминаемой Страбоном (VII, 322). К сожалению, мало надежды на повторение чудесной удачи, сохранив-

шей нам одну из «Политий» Аристотеля, и поэтому приходится довольствоваться той частью мегарской традиции, которая содержится в перизегесе Павсания.<sup>7</sup>

Важность мегарской традиции, нам кажется, до сих пор недооценивалась. Нельзя не согласиться со словами шведского исследователя Ганеля, что Павсаний дает «смесь древней подлинной традиции и позднейших конструкций, подгоняя факты под трафарет».<sup>8</sup> И все-таки попытка выделить из собранных Павсанием легенд древнейший слой, подобно тому, как это было сделано с гомеровским эпосом еще до расшифровки микенской письменности, не представляется безнадёжной. Поскольку путь развития Мегариды в архаическую эпоху неминуемо должен быть в общих чертах сходен с путем развития Аттики и других общин Греции, то при анализе материала Павсания уместен метод исторической аналогии. Поэтому особую ценность представляют для нас факты, параллели к которым мы находим в социальном развитии других греческих общин.

«География» Страбона тоже содержит остатки мегарской традиции. Однако, судя по описанию Страбоном Истма, сам он здесь не бывал.<sup>9</sup> Хотя он и был знаком с «Мегарской политией» Аристотеля, но сведения его по истории Мегариды крайне ограничены. В его изложении имеются повторения (IX, 392 и III, 171) и противоречия. Так, основание Мегар трижды упоминается Страбоном (VII, 333, IX, 393 и XIV, 653), но каждый раз начало передвижения дорийцев, основавших город, связывается им с другим исходным пунктом. Это привело (см. ниже) к возникновению в современной науке трех различных гипотез о доризации Мегар. Плохая осведомленность автора делает работу Страбона значительно менее ценным источником для истории Мегар, чем труд Павсания.

Хотя Плутарх и жил на целое столетие позже Страбона, его исключительная образованность позволила ему собрать значительно больше сведений о далеком прошлом Греции. К истории Мегариды имеют прямое отношение, кроме биографии Тесея, только «Греческие вопросы» (§§ 16, 17, 18, 57 и 59). Источником этих записей Плутарха, лишенных какой-либо внутренней связи, были, по-видимому, выписки из «Политий» Аристотеля.<sup>10</sup> Во всяком случае эту работу Плутарха



выгодно отличает отсутствие морализирующих тенденций и точность изложения. К сожалению, Плутарх не определяет времени рассказываемых им событий, и описанные им факты могут быть датированы весьма приблизительно, да и то лишь на основании косвенных данных, часто далеко не бесспорных (например, §§ 17, 57, 59).

Важным источником при восстановлении истории Мегар является археология. Раскопки в Мегариде начались еще в XIX в. Были локализованы памятники и строения, упоминаемые Павсанием, найден ряд посвячительных надписей, обнаружены следы древнейших поселений новокаменного и бронзового веков. Тем не менее, к началу XX в. не были определены даже холмы, на которых находились акрополи древних Мегар. Все выводы основывались на случайных находках, а систематические раскопки почти не велись.<sup>11</sup> Такое положение было тем более ненормальным, что Мегарида во времена Павсания обладала 26 храмами и стояла по количеству памятников на пятом месте среди греческих государств, впереди Олимпии, Коринфа и Фив.<sup>12</sup> В первые десятилетия XX в. начинаются систематические раскопки в самих Мегарах, позволившие уточнить топографию и размеры ряда сооружений, упоминаемых Павсанием. Одновременно раскапываются гавани Мегар и ряд мест на территории Коринфского перешейка.<sup>13</sup> Особенно интересные результаты дала английская археологическая экспедиция, работавшая в Мегарской области с 1930 г. Она обнаружила в юго-западной части Мегарской равнины два храма Геры и значительное поселение. Найденные там аргивская керамика и посвячительные надписи позволяют сделать важный вывод о тесных связях Аргоса и Мегар в начале I тысячелетия до н. э.<sup>14</sup>

Небольшим объемом археологических работ на территории Мегариды, вероятно, объясняется и ограниченность эпиграфического материала. В нашем распоряжении имеются всего три надписи из Мегариды, которые могут быть датированы периодом до греко-персидских войн (IG, VII, 35, 37 и 3493), и римская копия надгробия VIII в. до н. э., оригинал которого, вероятно, видел Павсаний (IG, VII, 52). Кроме перечисленных надписей, имеются только незначительные фрагменты, опубликованные Пэйном в его археологических

обзорах. Отсутствие мегарских надписей до известной степени восполняется обилием надписей, обнаруженных в Мегарских колониях, позволяющих иногда пролить свет на сложные вопросы политического устройства и экономической жизни древних Мегар. Кроме того, они дают возможность получить представление о мегарском диалекте и характере верований.<sup>15</sup>

Отсутствие вплоть до IV в. до н. э. монет, бесспорно принадлежащих Мегарам, сильно ограничивает возможность исследования развития экономических связей раннего мегарского государства. Еще в конце прошлого века греческий нумизмат Ж. Сворнос отнес к Мегарам неопределенные монеты с изображением колеса, с радиально идущими лучами. Его догадку поддержал и французский нумизмат Е. Бабелон. С. Сельтман относит к Мегарам VII–VI вв. до н. э. уже три типа монет. А. Н. Зограф, соглашаясь в принципе, что в древних Мегарах производилась чеканка монет, не берется определить их тип и относит монеты, определенные Сельтманом как мегарские, к чеканке Пароса и Феры (?).<sup>16</sup>

Скудостью материальных памятников, обнаруженных в Мегариде, и отсутствием новых литературных источников объясняется, вероятно, тот факт, что после ряда больших и ценных исследований XIX в.,<sup>17</sup> посвященных периоду возникновения и расцвета мегарского государства, в XX в. вышло только три книги, посвященные Мегарам.<sup>18</sup>

В настоящей статье автор ставит своей целью восстановить основные моменты древнейшей истории Мегариды.

Прежде всего необходимо остановиться на природных условиях тех мест, где возникло мегарское государство. Древние авторы часто отождествляют Мегариду с Истмом. Павсаний сообщает, что Нис, первый правитель Мегариды, владел всей областью, соседней с Элевсином, до самого Коринфа (τῆς ἄχρῃ Κορίνθου I, 39, 4). Хотя Страбон и считал деревни Эною и Кроммион принадлежащими Коринфу,<sup>19</sup> но и он признавал, что раньше Кроммион был деревней Мегариды, т. е. что южная граница Мегариды проходила недалеко от самого Коринфа (IX, 392). На севере естественной границей с Беотией была гора Киферон. Невысокие, но обрывистые горы Кераты отделяли Мегариду от Аттики на северо-востоке.

Длина всего перешейка от Коринфа до Киферона около 40 км, ширина варьирует от 7 км в самом узком месте (40 стадий согласно Страбону VIII, 335) до 26 км в местах максимального расширения. В средней части Мегариды, от Паг до Нисеи, перешеек имеет ширину около 22 км. Вся территория Мегариды не превышала 470 кв. км. Таким образом, по размерам территории Мегары были одним из самых маленьких греческих государств и уступали разве только Дориде.<sup>20</sup>

Перешеек между Средней и Южной Грецией образовался в результате сейсмических явлений, вероятно, в третичный период.<sup>21</sup> Уклон поверхности направлен на запад. Сюда, очевидно, стек в море ледник, так как горы разрезаны на западном берегу ущельями, изобилующими ледниковыми остатками. Растительность здесь скудная и почва неплодородная, хотя и богата мергелем, который мегарцы использовали в качестве удобрения.

Совсем иным был восточный берег. Здесь на равнине в ледниковый период был большой внутренний водоем, так как в слоях земли встречаются остатки пресноводной фауны. Возможно, это внутреннее море возникло в результате вторжения вод Саронического залива. Не случайно местные предания связывали Мегариду с мифом о потопе.<sup>22</sup> В настоящее время восточный берег перешейка изобилует аллювиальными долинами. В самой большой из них был расположен город Мегары. На склонах гор выступают залежи красной глины, служившей материалом для мегарской керамики. Обилие подземной воды приводило иногда к заболачиванию местности. Так, нам известно о наличии болот в районе Нисеи и полуострова Минои.<sup>23</sup> Мегарские авторы определяют лихорадку как бедствие, не уступающее даже самой старости.<sup>24</sup>

Почва Мегарской долины – суглинок, но обилие источников делает ее плодородной. На равнине, на близком расстоянии друг от друга возвышаются два холма – мегарские акрополи. Западный акрополь Алкафоя почти на 20 м выше второго акрополя Карию. Оба холма невысокие – меньше 300 м над уровнем моря.

Город Мегары был расположен между холмами и тянулся на юго-восток от них к морю, до которого от акрополей около трех километров. Южной границей города в I–II

вв. н. э. была, вероятно, ограда Нимф,<sup>25</sup> откуда до Мегарской гавани Нисеи было около полутора километров.<sup>26</sup> Поселение Нисея, восходящее к микенскому времени, расположено на холме на берегу удобной бухты.<sup>27</sup> Небольшой холм на берегу западной части Нисейской бухты скрывал, очевидно, и остров и крепость Миною, упоминаемые античными авторами.<sup>28</sup> В V в. до н. э. этот остров соединялся с берегом мостом, так что Никию в 427 г. до н. э. пришлось расчищать пролив между Миноей и материком, а уже Страбон называет Миною мысом.<sup>29</sup> Неудивительно, что и теперь развалины крепости находятся не на острове, а на юго-западном побережье бухты. Здесь и на территории древней Нисеи в большом количестве найдены черепки не только микенских ваз, но даже остатки керамики раннеэладского периода.<sup>30</sup>

Вдоль южного побережья Мегариды тянутся Скиронские скалы, через которые была пробита тропа в Южную Грецию, к Коринфу. Дорога проходит по краю пропасти, над самым морем.<sup>31</sup> Хотя Павсаний и пишет (I, 44, б), что император Адриан расширил дорогу так, что даже две повозки могли разминуться, и сделал ее широкой и удобной, однако современное название этой дороги какῆ σκάλα – «скверная лестница» – заставляет думать, что рукой Павсания, писавшего эти строки, двигало скорее желание выслужиться перед Адрианом, чем искреннее восхищение удобствами дороги. С началом обмена между Средней и Южной Грецией жителям Мегариды представилась возможность нападать в этом месте даже на хорошо вооруженных путников. Алкифрон, например, пишет, что именно здесь обычно поджидают путешественников разбойники.<sup>32</sup> Страбон, Павсаний, Диодор и Плутарх в биографии Тесея сообщают мифы о Скироне, эпониме горной цепи, и разбойнике Синисе, разрывавшем путников, привязывая их к двум согнутым соснам.<sup>33</sup> В этих мифах народная фантазия отразила опасности трудного пути. Более удобной дороги в Пелопоннес не было, так как непосредственно от Скиронских скал на север до Беотии и Киферона тянутся местами непроходимые Гераней – Журавлиные горы.<sup>34</sup> Именно поэтому спартанцы, получив известие, что персы прорвали Фермопилы, одновременно с постройкой стены через Истм завалили и Скиронову дорогу.<sup>35</sup>

На север из Мегар шли три дороги: кроме Скироновой, ведущей на Элевсин и Афины, была еще дорога к Мегарской гавани на северном побережье – Пагам. Оттуда был путь через древний город Эгосфены в Беотию к Платеям и в Фивы. Однако жители предпочитали крутую тропу, ведущую из Мегар непосредственно в Платеи. Это был кратчайший путь в Беотию (Павсаний, IX, 2, 3).

Подводя итог оказанному о географическом положении и природных условиях страны, можно сделать следующие выводы:

1. Наличие плодородной равнины в восточной части Мегариды привело к раннему, со времени неолита,<sup>36</sup> заселению этой части страны.

2. В период развития обмена между Средней и Южной Грецией создается стимул для роста населения Мегариды, так как возможность контроля единственного сухопутного пути в Пелопоннес обеспечивала жителям значительные выгоды.

3. В Мегариде имелись полезные ископаемые: мергель, красная глина, применявшаяся для керамического производства, соль, которая вывозилась отсюда даже в Аттику (см. схолию к «Ахарнянам» Аристофана, с. 524–25). Все это способствовало развитию ремесла в стране, а наличие хороших гаваней и положение между Средней и Южной Грецией давало возможность развиваться торговле.

4. Выгодность местоположения должна была привести возникающие племенные объединения к борьбе за эту область, а незначительные размеры всей страны и особенно недостаток плодородной земли в Мегарах приводили на ранних этапах к смене населения. Этим ранняя история Мегар и отличается, с одной стороны, от Аттики, где, как сообщает Фукидид,<sup>37</sup> население не сменялось, с другой стороны, от Пелопоннеса, где, во всяком случае в I тысячелетии до н. э., побежденное земледельческое население долго сосуществовало с победителями, не смешиваясь с ними.<sup>38</sup>

Не представляется возможным в рамках настоящей статьи пытаться решать вопросы, касающиеся догреческого периода на юге Балканского полуострова. Маленькая Мегарида дает для этого недостаточно материала. Тем не менее рас-

смотрение даже разрозненных данных и попытка объяснения их позволяет сделать некоторые выводы о древнейшей истории этой области.

О том, что первоначальное население Мегариды было не индоевропейским, нам говорят данные топонимики (названия поселений Ниса и Нисея, Кария, Миноя, Мегары) и мегарская традиция, сохранившая нам список мифических правителей, имена которых и легенды, с ними связанные, показывают, что мегарцы считали первоначальными жителями своей страны карийцев, лелегов и пеласгов.<sup>39</sup> Представление о том, что народы, в позднейшую эпоху обитавшие в Малой Азии и называвшиеся карийцами, были некогда распространены по всему греческому матерiku, где они назывались также лелегами, свойственно большинству греческих историков.

Геродот говорит, что «первоначально карийцы обитали на островах и назывались лелегами» (I, 171). Почти дословно повторяет Геродота Страбон. «Наиболее принятое мнение о карийцах то, что они подчинялись Миносу, назывались тогда лелегами и владели островами. Когда же они сделались жителями материка, они заняли большую часть морского берега и суши, отняв их у прежних владельцев, и те (прежние владельцы) были по большей части (οἱ πλείους) лелегами и пеласгами» (XIV, 661). В другом месте, ссылаясь на «Политии» Аристотеля, Страбон пишет, что карийцы и лелеги занимали Среднюю Грецию: часть Акарнании, Этолию, Беотию, Локриду Опунтскую и Мегариду (VII, 322). Там же Страбон ссылается на Гекатея Милетского, утверждавшего, что в Пелопоннесе тоже некогда было догреческое население. Среди племен, обитавших по обе стороны перешейка (значит и в Мегариде), он называет пеласгов, лелегов и другие родственные им племена. Не ссылаясь на источники, Страбон приводит два мнения: одно, что лелеги это те же самые карийцы, и другое, что они только были соседями карийцев, совместно с которыми они совершали походы.<sup>40</sup>

В настоящее время невозможно ничего определенного сказать ни об этих совместных походах, ни о борьбе доиндоевропейских племен между собой. Отметим только, что греческая традиция знакома с войнами между доиндоевропейскими обитателями Эгеиды и Балканского полуострова и что

в представлении некоторых авторов войны эти были связаны с нападениями на греческий материк с островов.<sup>41</sup>

Наиболее связно местная традиция о древнейшем прошлом Мегариды дана Павсанием (I, 39, 5–6). Первым в мифическом списке царей он называет Кара, сына Фороней, первого жителя Арголиды. С именем Кара мегарцы связывали заселение восточного акрополя – Кари и сооружение святилища Деметры – Мегар, от которых произошло название города. Нет сомнения, что этимологический миф о Каре был создан, чтобы объяснить ставшее уже непонятным название мегарского акрополя. Возникновение мифа об аргивском происхождении Кара связано, вероятно, с какими-то политическими соображениями позднейшего времени и едва ли может приниматься в расчет.<sup>42</sup> Тем не менее в этом мифе имеется какое-то, пусть фантастическое, отражение исторического прошлого. Это видно из того, что Кария безусловно является древнейшим городищем в Мегарах. На этом холме и сейчас видны остатки киклопических стен, и даже при несистематических раскопках были найдены черепки домикенской керамики.<sup>43</sup> Утверждение, что культ богини плодородия был в Мегарах самым древним, тоже представляется весьма вероятным. Правда, имя Деметра едва ли могло существовать в ту эпоху, так как в микенских надписях ни разу не встречается это имя, и даже у Гомера Деметра упоминается сравнительно редко. Давно высказывалось предположение, что богиня плодородия, мать богов, – один из самых древних образов греческой мифологии и что возникновение этого образа надо относить еще к эпохе критской культуры.<sup>44</sup>

Кносская надпись – М 719 – позволяет, как показывают А. Фурумарк и С. Я. Лурье, переводить имя Δαμῆτηρ как «мать-земля».<sup>45</sup> Вполне естественным представляется, что уже у древнейших оседлых поселенцев плодородной Мегарской равнины существовал культ богини земли, получившей с приходом индоевропейцев новые имена Элевтии, а впоследствии Деметры.<sup>46</sup> Таким образом, мегарская традиция о сооружении святилищ богини земли одновременно с заселением первого акрополя, по-видимому, имеет реальную историческую основу.

С этим вопросом связана и проблема времени возникновения термина «Мегары». Обычная точка зрения на этот вопрос основывается на приводимой Павсанием (I, 39, 5) беотийской версии о том, что древнейшим центром Мегариды была Ниса, а название Мегары появилось много позже, в годы, непосредственно предшествующие Троянской войне.<sup>47</sup>

Если принять данную датировку, то вполне естественно производить название города от греческого слова «мегарон – зал».<sup>48</sup> Однако беотийская версия отвергалась местной традицией, вероятно, потому, что она пыталась навязать Мегарам эпонима из чужой страны и тем самым ставила возникновение города в какую-то зависимость от Беотии, а возможно и потому, что она объявляла возникновение Мегар событием сравнительно поздним. Мегарские же историки утверждали, что название города возникло одновременно с освоением древнейшего акрополя Карики. Если принять эту местную версию, то происхождение названия «Мегары» надо искать не в индоевропейских языках.<sup>49</sup> Эта мысль находит свое подтверждение в том, что название Мегары, согласно Страбону (XVI, 752), встречается и в Сирии, а Стефан Византийский (s. v. Μεγάρρα) называет Мегары на Понте. Суффикс *αρα* встречается в названиях многих мест в Малой Азии. Этот факт заставил искать происхождение слова «Мегары» в восточных языках. Одни ученые полагают, что это слово карийское,<sup>50</sup> другие видят в нем семитический корень. Не стремясь в данной статье разбирать этот вопрос, отметим только, что при понимании этого слова как иноземного становится понятнее множественное число в названии города. «Мегарон», храм Деметры, воздвигнутый на Карики легендарным основателем государства, был только один, и Павсаний (I, 40, 6) обозначает его единственным числом. Если признать это слово заимствованным, то естественно, что греки, взяв это оставшееся от догреческого населения и ставшее малопонятным слово, суффикс которого сходен с греческим окончанием множественного числа среднего рода, осмыслили его, как обычно бывает в народной этимологии, как греческое.<sup>51</sup> Предпочтительнее понимание названия города, как догреческого слова, заставляет нас также и то обстоятельство, что такое толкование дает возможность принять мегарскую версию мифа, вос-



ходящую, как мы старались показать выше, к древней устной традиции, в то время как беотийская версия, вероятно, была продиктована позднейшими политическими интересами.<sup>52</sup>

Продолжительность догреческого периода в истории Мегариды была весьма значительной. Мегарская традиция сочла необходимым подчеркнуть это, вставив между Каром и вторым, тоже носящим догреческое имя, мифическим царем Лелегом одиннадцать поколений. Но и после Лелега еще несколько правителей носят негреческие имена. Конец этого периода, вероятно, должен быть отнесен к началу среднеэладского периода, когда появляется серая, так называемая «минийская» керамика. Черепков подобного рода керамики особенно много найдено не в самих Мегарах, а на побережье Саронического залива у древней Нисеи.<sup>53</sup>

Дальнейший рост Мегар относится уже к Микенскому периоду, когда согласно традиции правил Алкафой, которому традиция приписывает заселение второго мегарского акрополя, носившего его имя, и постройку стены вокруг города (Павсаний, I, 41, 6 и I, 42, 1). Наличие такой стены киклопической кладки подтверждено археологически. С этого периода в мифическом списке царей все имена имеют ясную греческую этимологию.

В микенское время Мегарида находилась между беотийско-аттической и северо-пелопоннесской зонами распространения ионийцев. Вполне естественно, что здесь осели ионийцы, как об этом говорят и данные традиции и сохранившиеся памятники культа ионийских божеств и героев.<sup>54</sup>

Сохраненная Страбоном, Павсанием и афинскими авторами традиция утверждает, что в этот период и даже после Троянской войны вся Мегарида принадлежала ионийцам Аттики и только в царствование Кодра дорийцы изгнали их оттуда.<sup>55</sup> Сохранилась и мегарская версия (Павсаний, I, 39, 6), которая, признавая связи древних правителей Мегариды как с Аттикой, так и с Беотией, вместе с тем отрицала принадлежность страны Афинам.

Однако уже в древние времена обратило на себя внимание то обстоятельство, что афинская версия подтверждается отсутствием упоминания независимого мегарского государ-

ства в так называемом «каталоге кораблей» у Гомера. Страбон (IX, 394) приводит дискуссию между мегарской и афинской школой историков, имевшую место по поводу 557–558 стихов «Каталога». Мегарцы обвиняли Солона или Писистрата в грубой подделке Гомера, выразившейся в том, что после стихов о саламинских кораблях они вставили строку о том, что эти корабли встали рядом с афинянами. На самом же деле, утверждали мегарцы, на этом месте у Гомера стояла выброшенная афинянами строка о кораблях, прибывших из селений Мегариды: Полихны, Эгейры, Нисеи и Трипод.

Характерно, что даже мегарская версия отражает отсутствие централизации в Мегариде на рубеже II–I тыс. до н. э. Сами Мегары в «Каталоге» среди центров страны не названы, хотя упомянуты некоторые селения столь незначительные, что они до сих пор не локализованы.

В другом месте (IX, 405) Страбон, ссылаясь на книгу Аполлодора о гомеровском «Каталоге кораблей», замечает, что названной в «Каталоге» среди беотийских городов Нисы нет в Беотии, но она есть в Мегариде. Страбон подозревает здесь ошибку в тексте Гомера. Если же предположить, что ошибки нет и что Ниса представляет в этом месте (Илиада, II, 508) всю Мегариду, то это приведет к выводу, что в додо-рическую эпоху существовали тесные связи между беотийскими и мегарскими ионийцами.<sup>56</sup>

Все же большинство современных ученых склоняется на сторону афинской версии, т. е. склонны признать, что Мегарида входила в афинское государство.<sup>57</sup> Они при этом руководствуются прежде всего географическими соображениями, так как Киферон, отделяющий Мегариду от Беотии, значительно труднее проходимо, чем Кераты на границе с Аттикой.

Однако нельзя забывать, как справедливо указал Виламовиц, что многовековое стремление Афин подчинить себе территорию Мегариды требовало исторического обоснования. Уже одно это заставляет нас с подозрением относиться к афинской литературной традиции. Гораздо больше доверия должен вызывать материал раскопок, а также топонимика, культов, быта и т. п., в которые, как правило, политическая тенденция проникает с гораздо большим трудом.

С этой точки зрения нам кажется весьма важным 16-й параграф «Греческих вопросов» Плутарха – «Что такое афоброма?», в котором идет речь о старинной мегарской одежде, завезенной в Мегариду из Беотии. Легенда связывает появление этой одежды с браком между мегарским правителем Нисом и дочерью беотийца Онхеста, сына Посейдона. Культ этого бога является общим для беотийского города Онхеста (Павсаний, IX, 26, 7; Илиада, II, 506) и побережья Мегариды (Фукидид, IV, 118). Местный бытовой материал, сохраненный Плутархом, является, по нашему мнению, беспристрастным свидетельством тесных связей Беотии и Мегариды. Ведь невозможно предположить, что мода женской одежды была навязана беотийцами, чтобы впоследствии предъявить территориальные или какие-либо другие претензии к Мегариде. С другой стороны, эта мода легко могла быть перенята мегарцами и в случае господства над ними беотийцев и даже при наличии просто тесного союза или связей между ними.<sup>58</sup>

Таким образом, упоминание в «Каталоге» «священной Нисы» рядом с Онхестом и другими беотийскими городами не является, вероятно, ни ошибкой, ни случайностью. В период непосредственно до Троянской войны и во время нее центр управления Мегариды был перенесен ближе к морю. Это могло быть вызвано близкой связью с беотийцами, а может быть и временной зависимостью от Беотии, для которой Нисея служила естественной южной гаванью. Это явление, возможно, и отразил гомеровский «Каталог кораблей».<sup>59</sup>

Дорийское вторжение в Пелопоннес первоначально, очевидно, не затронуло Мегариду. Археологические данные показывают, что вторжение в Мессению и разрушение Пилосского дворца произошло в самом начале XII в. до н. э. На Истме геометрическая керамика и другие памятники материальной культуры, которые могут быть отнесены к дорийцам, появляются значительно позже. Греческая традиция связывает появление дорийцев в Мегариде с их походом на Аттику и относит это событие ко времени Кодра (середина XI в. до н. э. по хронологии Эратосфена). Геродот (V, 76) пишет: «Первый раз дорийцы вторглись в Аттику, когда заселили Мегары. Поход этот справедливо будет назвать походом в царствование Кодра». Согласно Страбону (III, 171), ионяне, изгнанные из

Пелопоннеса, поселились в Аттике и Мегариде. Они поставили на Истме столб с надписями на одной стороне: «Это не Пелопоннес, а Иония», а на другой: «Это Пелопоннес, а не Иония». Об этом столбе Страбон пишет и в другом месте (IX, 392), где он добавляет, что столб этот был поставлен у Кроммиона и что причиной его установления были частые споры ионийцев с пелопоннесцами из-за границ. Из дальнейшего (IX, 393) видно, что столб был поставлен до дорийского вторжения в Мегариду, так как Страбон связывает уничтожение этого столба с тем самым походом на Аттику, о котором рассказывает у Геродота. Нет сомнения, что в обоих местах у Страбона речь идет об одном и том же столбе: об этом свидетельствует полное тождество приведенных в обоих случаях своеобразных надписей. Сопоставляя содержание обеих выдержек из Страбона, мы можем установить следующую последовательность событий: 1) вытеснение ионийцев из Пелопоннеса в Аттику и Мегариду; 2) пограничные споры пелопоннесцев с ионийцами и установление столба; 3) нападение дорийцев на Аттику при Кодре, закончившееся завоеванием Мегариды, сменой там населения и уничтожением столба. Как и все известные нам греческие авторы, Страбон считает, что вытеснение ионийцев из Пелопоннеса было связано с возвращением Гераклидов, т. е. с дорийским завоеванием.

Таким образом, можно считать установленным, что в представлении Страбона дорийцы сперва появились в Пелопоннесе и лишь потом вторглись в Мегариду. Иначе говоря, Страбон, очевидно, считал, что доризация Мегариды произошла с юга. Предположение, что дорийцы проникли в Пелопоннес не через перешеек, подтверждается и археологически. Движение дорийских племен с севера было, как показывают раскопки, по-видимому, остановлено у северных склонов афинского акрополя.<sup>60</sup> Тем не менее, некоторые ученые считают, что вторжение дорийцев в Мегариду произошло с севера и что она была одной из первых областей, подвергшихся доризации. При этом они ссылаются на то место у Страбона, где сказано: «Гераклиды привели дорийцев, которыми были заселены Мегары и многие из городов Пелопоннеса» (VII, 333). Однако едва ли допустимо делать вывод о том, что Мегары были заселены дорийцами раньше других

городов Пелопоннеса, основываясь только на порядке слов у Страбона. Он перечисляет в этой фразе греческие племена по обе стороны перешейка, и Мегары могли оказаться на первом месте среди дорических государств юга Греции не потому, что Страбон считал их первой доризованной областью, а просто потому, что они лежат у самого Истма. Так же мало убедительны и другие доводы сторонников взгляда, что завоевание Мегариды произошло с севера.<sup>61</sup>

Если принять гипотезу о заселении дорийцами Мегариды с юга, то встает вопрос, из какого именно дорийского центра Пелопоннеса происходило это заселение. У нас нет местной традиции, отразившей это событие, и дорийское вторжение в Мегариду даже не связывается персонально ни с кем из Гераклидов. Страбон (IX, 393), Павсаний (I, 39, 4), Псевдо-Скимн (502 сл.), Эфор (фрагм. 19, FGrH., II A, 48) и другие историки представляют вторжение в Мегариду как общее предприятие всех дорийцев, в котором ведущую роль играли коринфяне. У схолиастов и лексикографов (Свида s. v. Διὸς Κόρινθος; Апостолид VI, 17, схолия к Немейской оде Пиндара со ссылкой на историка Демона) Мегары даже названы колонией коринфян.

Предположение, что коринфяне были главными участниками дорийского похода на Мегариду, кажется вполне естественным. Они были их ближайшими соседями и часто, как писал Страбон (IX, 392), спорили с ионийцами из-за границ. Большинство современных исследователей склонны в этом вопросе отнестись к свидетельству античных авторов с доверием.<sup>62</sup> Однако нельзя забывать, что легенда о походе на Атику и о принесении Кодром себя в жертву возникла не раньше V в. до н. э.<sup>63</sup> Кроме того, необходимо учитывать сложность политических интересов в эпоху появления этой версии о возникновении Мегарского государства. Ганель видит в легенде о прошлой зависимости Мегар от Коринфа «лишь отражение коринфских махинаций в начале великой пелопоннесской войны».<sup>64</sup> Он обращает внимание, что Страбон (XIV, 653) по вопросу о заселении дорийцами Мегариды сохранил нам другую, восходящую к Эфору (ср. X, 479), версию, в которой в связи с завоеванием Мегариды упоминается имя аргивянина Алтемена.<sup>65</sup> «Одни (дорийцы-завоеватели), пишет

Страбон, остались там в Мегариде, другие с аргивянином Алтеменом приняли участие в выведении колонии на Крит, третьи разделились: кто на Родос, кто в названные выше города (Галикарнас, Книд, Кос). На тесную связь Мегар с Аргосом в древнейшую эпоху указывает и мегарская сокровищница в Олимпии, которую видел Павсаний. Он пишет, что сокровищница была сооружена из добычи, захваченной в войне с Коринфом. «Говорят, – добавляет он, – что аргивяне принимали участие вместе с мегарцами в этом деле против коринфян» (VI, 19, 14). Однако время этой войны невозможно точно определить, и это в значительной степени обесценивает сообщение о связях Мегар и Аргоса. Ганель на основании анализа религиозных культов пытается решить вопрос: с каким именно дорийским государством Пелопоннеса Мегары больше всего связаны? При этом он справедливо, с нашей точки зрения, замечает, что дорийцами могли быть принесены в Мегары не только собственно дорийские культы, но и местные божества тех племен, среди которых дорийцы жили до вторжения в Мегариду. Больше всего внимания Ганель уделяет аргивской богине Гере Акрайе, храм которой, как мы выше указывали, был раскопан в юго-западной Мегариде. Археологический материал подтверждает, что возникновение этого храма относится к раннегеометрическому времени. Керамика тоже показывает на связь с Аргосом: в 1932 г. даже обнаружили глиняный рельеф, сделанный в той же форме, что и рельеф аргивского Герайона, а также большие аргивские вазы и геометрические печати. Эти находки делают весьма убедительной гипотезу о вторжении на Истм дорийцев из Арголиды.

Однако не представляется возможным, как это делает Ганель, полностью отвергать единодушное свидетельство всех античных авторов об участии и даже ведущей роли коринфян в этом походе. Дошедшая до нас традиция создана главным образом афинской школой (Эфор, Демон и др.), ни в какой степени не заинтересованной в умалении роли Аргоса и в прославлении Коринфа. Это обстоятельство Ганель в своем рассуждении совершенно не учитывает.

Дорийское вторжение начинает новый период в истории Мегариды, когда быстрое разложение родового строя приводит к обострению социальной борьбы, выведению многочис-

ленных колоний, частым социальным переворотам. Этот период должен стать предметом особой работы.

Настоящее исследование позволяет прийти к следующим выводам:

1. Павсаний, хорошо знавший мегарскую традицию, сохранил наиболее достоверные сведения о древнейшем прошлом Мегар.

2. Географическое положение и природные условия Мегариды способствовали раннему заселению этой области и развитию здесь ремесла и обмена.

3. Древнейшие поселения в области Мегариды были основаны не греками, а скорее всего карийцами и лелегами, что отражено в мегарской традиции, сохраненной у Павсания.

4. Само название Мегар и легенды об их основании связаны с культом богини плодородия. Этот догреческий культ, слившийся впоследствии с принесенным греческими пришельцами культом Деметры, возможно, попал в соседний Элевсин из Мегар.

5. Отсутствие упоминания Мегар в гомеровском «Каталоге кораблей» и упоминание там Нисы может быть объяснено перенесением в конце II тысячелетия до н. э. центра Мегариды к морю. То, что Ниса помещена в «Каталоге» среди беотийских городов, свидетельствует о тесных связях ионийской Мегариды с Беотией, а, может быть, и о зависимости от нее. Связь Мегариды с Беотией подтверждается и некоторыми деталями быта, сообщаемыми в «Греческих вопросах» Плутарха.

6. Вторжение дорийцев в Мегариду происходило в направлении с юга на север, причем в число центров, откуда двигались дорийцы, необходимо включить и Аргос.

## Примечания

<sup>1</sup> Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., Госполитиздат, 1953, с. 123.

<sup>2</sup> Ф. Кауэр сделал интересную попытку показать сходство и различия в развитии Афин и Мегар: Causer F. Parteien und Politiker in Megara und Athen. Stuttgart, 1890, SS. 1–97.

<sup>3</sup> Pausaniae Graeciae Descriptio ed. H. Hitzig. Commentarium scripserunt H. Hitzig et H. Blümner. T. I–III. Berlin, 1896–1910; Strabonis Geographica ed. A. Meineke. Bd. I–III. Lipsiae, 1877; Plutarchi Quaestiones Graecae ed. Halliday. Oxford, 1928. Часто привлекаемый в качестве источника по истории Мегар поэт VI в. до н. э. Феогнид, в силу характерной для его творчества политической злободневности, может дать очень мало материала для эпохи, предшествующей его деятельности.

<sup>4</sup> Любопытно, что Павсаний всегда старается определить возможно точнее авторство произведений изобразительного искусства, указывая даже на возможное участие какого-либо мастера (I, 40, 4). Литературное авторство его, очевидно, не интересует. Это наблюдается и в других книгах труда Павсания.

<sup>5</sup> Один из исследователей творчества Павсания – Гурлитт (Gurlitt W. Über Pausanias. Graz, 1890, S. 100) допускает возможность, что единственным источником Павсания были устные сообщения мегарских экзегетов. Однако сам Павсаний приводит версию о родстве мегарских и саламинских правителей, которую, как он пишет, мегарские проводники не приводили. Вместе с тем, эта версия не может принадлежать самому Павсанию, так как она отражает стремление Мегар обосновать свою власть над Саламином. На это справедливо указал еще Тепфер (Töpfer J. Attische Genealogie. Berlin, 1889, S. 272). Таким образом, Павсаний косвенно признает, что он пользовался письменными источниками.

<sup>6</sup> Отрывки произведений местных мегарских историков собраны Ф. Якоби (Die Fragmente der griechischen Historiker von F. Jacoby. Bd. III. Geschichte von Städten und Völkern. B. Autoren über einzelne Städte. Leiden, 1950, S. 448 f.). О датировке мегарских историков см. Wilamowitz U. Homerische Untersuchungen. Berlin, 1884, S. 239 f. u. 259 f. Вопрос о том, сочинения каких именно мегарских историков использовал Павсаний, породил целую дискуссию. Калькман (Kalkmann A. Pausanias der Perieget. Berlin, 1886, S. 152 f.) выступил с теорией, что у Павсания было два местных мегарских источника: Диевхид, для характеристики и описания памятников, и какой-то другой мегарский автор, для генеалогических сведений. Однако большинство исследователей считают эту гипотезу мало убедительной: Gurlitt W., ук. соч., с. 435; Robert C. Pausanias als Schriftsteller. Berlin, 1909, S. 117 f.; Seeliger K. Alkathoos und die Megarische Königsliste. «Festschrift für Overbeck». Leipzig, 1893, SS. 27–44. У нас есть всего 11 фрагментов Диевхида и нет ни одного места, позволяющего говорить об использовании этого автора Павсанием.

<sup>7</sup> За исключением Павсания и разбираемых ниже мест из Страбона и Плутарха имеются также отдельные отрывки традиции в работах Афиней, Аполлодора, Стефана Византийского, схолиастов и лексикографов. Однако сколько-нибудь связную картину древнейшей истории Мегар дает только Павсаний.



<sup>8</sup> Hanell K. *Megarische Studien*. Lund, 1934, S. 15. В первой части своей книги (с. 18–110) Ганель, анализируя приводимую Павсанием традицию, делает попытку установить религиозные связи Мегар с соседними общинами в додорическую и дорическую эпохи. Также, главным образом, историко-религиозную интерпретацию легенд дает в комментарии к своему переводу Павсания и Дж. Фрезер (*Pausanias's Description of Greece. Transl. with a commentary by J. Frazer. Vol. I–VI. London, 1898*). Попытки найти в этих легендах отражение общественных сдвигов, несомненно, имевших место в Мегарах в дописьменную эпоху, мы не находим также и в упомянутом выше подробном комментарии Гитцига и Блюмнера.

<sup>9</sup> Доказательством этому служит прежде всего путанность описания некоторых областей Средней Греции. См., например, VIII, 380, где Страбон называет Геранейские горы Онеями. Джонс (*The Geography of Strabo with an English translation by Jones. Vol. IV, 1927, p. 195, n. 5*) считает, что Страбон спутал Геранею с горой, лежащей к юго-востоку от Коринфа (см. *Thuc., IV, 44; Xen., Hell., VI, 5, 51; VII, I, 41*).

<sup>10</sup> Это предположение В. Гэллидея подтверждает и Беббит (*Plutarch's Moralia with an English translation by F. C. Babbitt. vol. IV. London, 1936, p. 174*).

<sup>11</sup> См., например, указ. выше комментарий к Павсанию Гитциг-Блюмнера, с. 363, где приведена дискуссия о местонахождении мегарских акрополей. Там же указаны публикации отдельных votivных надписей, позволяющих локализовать некоторые памятники.

<sup>12</sup> Hanell K., *ук. соч.*, с. 10 со ссылкой на статью Hussey, *AJA*, 1890, с. 63.

<sup>13</sup> Подробную библиографию археологических работ, связанных с Мегарами в первой четверти XX в., приводит Хайбаргер (*Highbarger E. L. The History and Civilisation of Ancient Megara, ch. I. Baltimore, 1927, pp. 1–30*). Он же в указанной работе составил топографический план Мегар и их окрестностей, не утративший значения и на сегодняшний день.

<sup>14</sup> См. ежегодные отчеты Пейна в «*The Journal of Hellenic Studies*», 1930, с. 238 сл.; 1931, с. 191 сл.; 1932, с. 240 сл.; 1933, с. 277 сл.

<sup>15</sup> *Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften von H. Collitz, F. Bechtel und O. Hoffmann. Bd. I–IV. Göttingen, 1884–1915, №№ 3001–3113.*

<sup>16</sup> *Svoronos J. Νομισματικά εὑρήματα. «Journal International d'archéologie numismatique», 1898, p. 372; Babelon E. Traité des monnaies grecques et romaines. vol. II, 1. Paris. 1907, p. 717; Seltman C. Greek Coins. London, 1933, p. 38; Зограф А. Н. Античные монеты. М., 1951, с. 24, 43, табл. I, №№ 25 и 26.*

<sup>17</sup> На первое место, безусловно, следует поставить обширную, посвященную Мегарам вступительную статью Ф. Велькера (*Theognidis Reliquiae ed. F. Welcker. Frankfurt, 1826*); одновременно с ней вышла и книга Рейнганума (*Reinganum H. Das alte Megaris. Berlin, 1825*). Недоступными мне остались книги: *Vogt G. De Rebus Megarensium usque ad Bella Persica. Marburg,*

1857, а также Thamm M. De Republica ac Magistratibus Megarensium. Halle, 1885. Интересную, хотя и чересчур смелую книгу Кауэра о Мегарах и Афинах я уже называл.

<sup>18</sup> Кроме уже названных книг Ганеля и Хайбаргера, можно назвать книгу Пфистера (Pfister F. Die Mythische Königsliste von Megara. Naumburg, 1907) и справочную статью Эрнста Майера в энциклопедии Паули-Виссова-Кроль (s. v. Megara, RE, XV, 1931, с. 152–205). Что касается книги Хайбаргера, то она, по справедливому замечанию его коллеги, представляет собой «только собрание материала, без каких-либо попыток дать его оценку» (Hanell K., ук. соч., с. 17). Сам же Ганель, ученик известного Мартина Нильссона, следуя направлению своего учителя, дает очень интересную попытку восстановления древнейшей истории Мегариды на основании анализа культов Мегар и их колоний. Однако вопросы экономической жизни, социального развития оказались за пределами исследования Ганеля.

<sup>19</sup> Strabo, VIII, 380, где автор называет Эною сторожевой крепостью коринфян, а Кроммион – коринфской деревней. Ср. также Xen. Hell., IV, 5, 5.

<sup>20</sup> Lolling H. G. Geographie und Geschichte des Griechischen Altertums. Nördlingen, 1889, S. 121. Такого же мнения о размерах Мегариды придерживаются Белох (Klio, VI, 1906, S. 55) и Хайбаргер (ук. соч., с. 121).

<sup>21</sup> О геологии Мегариды см. Philippon A. Der Peloponnes. Berlin, 1892, SS. 15–18.

<sup>22</sup> Paus., I, 40, 1. Ср. также FGh, III B., Dieuchidas, № 1.

<sup>23</sup> Frazer J. Pausanias's Description of Greece, vol. II, p. 540.

<sup>24</sup> Theognis, 173–74.

<sup>25</sup> Paus., I, 44, 3.

<sup>26</sup> Страбон (IX, 392) называет 18 стадий, а Фукидид (IV, 66) определяет длину стен, соединяющих Нисею с Нижним городом, только в восемь стадий. Очевидно, Страбон имеет в виду расстояние от Нисеи до Акрополей, а Фукидид – до ограды Нимф или до Рыночной площади.

<sup>27</sup> Локализовать Нисею современным холмом Святого Георга предложил еще в 1838 г. Шпратг. Раскопки Кэссона 1912–1913 гг. (BSA, XIX, 1912, p. 708) подтверждают эту локализацию.

<sup>28</sup> Thuc., III, 51, 1–3; Paus., I, 44, 3.

<sup>29</sup> Thuc., III, 51, 4; Strabo, IX, 391.

<sup>30</sup> Bölte und Weicker. Nisaia und Minoa. Athen. Mitteil., XXIX, 1904, SS. 79–100; Laird A. G. Nisaea and Minoa. Class. Philol., XXIX, 1934, p. 89 f.

<sup>31</sup> Strabo, IX, 391. Ср. также приведенное в лекции К. М. Колобовой «Страна и население Древней Греции» (Изд-во ЛГУ, 1955, с. 25–26) описание Флобером состояния этого пути.

<sup>32</sup> Alciphron, III, 70.

<sup>33</sup> Strabo, IX, 391; Paus., II, 1, 4; Plut., Thes., 10; Diod., IV, 59.

<sup>34</sup> Возможно, название этих гор и обилие в этих местах разбойников еще в VI в. до н. э. породило известную легенду об Ивиковых журавлях.

<sup>35</sup> Herod., VIII, 71.

<sup>36</sup> О неолитических памятниках см. Blegen. AJA, 24, 1920, p. 1 f. Об обсидиановых ножах в Нисее Bölte u. Weicker, ук. соч., с. 95.

<sup>37</sup> Thuc., I, 2, 5. О смене населения в начале II тысячелетия до н. э. в связи с приходом индоевропейских племен Фукидид, естественно, не знал.

<sup>38</sup> Уэйд-Джери (H. T. Wade-Gery) в главе XXII Cambridge Ancient History (vol. II, 1924, p. 534) справедливо, с нашей точки зрения, замечает, что Мегары замечательны тем, что это единственное из всех дорийских государств, в котором не наблюдается черт различия между дорийцами и додорийским населением. Однако с его предположением, что, может быть, такого населения и не было, согласиться нельзя.

<sup>39</sup> Fick A. Vorgriechische Ortsnamen. Berlin, 1905, S. 111 f.; Seeliger K., ук. соч., с. 27 сл.

<sup>40</sup> Представителем первой теории является, судя по приведенной выше цитате, Геродот, представителем второй – Каллисфен (см. Страбон, XIII, 611). Возникновение двух подобных теорий показывает, что и карийцы и лелеги были настолько далеки от эллинов по своему языку, что у греков даже не было ясности, один ли язык у обоих варварских народов или разные (ср. древнерусское «немцы», применяемое одинаково ко всем иностранцам). Недаром Гомер называл карийцев βαρβαρόφωνοι (II, 11, 867). Естественно, что и в современной науке по этому вопросу нет единого мнения. Наиболее убедительной представляется гипотеза Кречмера (Kretschmer P. Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Göttingen, 1896, SS. 376–384). Он высказывает предположение, что карийцы и лелеги – родственные по языку догреческие племена Эгеиды: карийцы – восточные, а лелеги – западные.

<sup>41</sup> Павсаний (IV, 36, 1) пишет, что лелеги проникли в Мессению через Мегариду, но были вытеснены оттуда пеласгами. Ср. также Thuc., I, 4.

<sup>42</sup> Павсаний (VI, 19, 14), говоря о мегарской сокровищнице в Олимпии, упоминает, что мегарцы воевали против Коринфа в союзе с Аргосом.

<sup>43</sup> Памятники микенской культуры в Мегариде перечислены Фимменом (Fimmen D. Die kretisch-mykenische Kultur. Berlin, 1921, S. 9).

<sup>44</sup> Предположение Группе развито и обосновано С. Я. Лурье. (Язык и культура Микенской Греции. М., 1957, с. 208–209 и 293–304).

<sup>45</sup> Лурье С. Я., ук. соч., с. 289 со ссылкой на А. Фурумарка.

<sup>46</sup> Имя богини Eleutiја засвидетельствовано кносскими надписями: Gg 705 и Od 714–716. Любопытно, что согласно этим надписям богине жерт-

вуют шерсть. Это также объединяет Элевтию и Деметру, которую Павсаний (1, 44, 3) называет «приносящей овец». С. Я. Лурье пишет, что культ древней пелопоннесской богини плодородия Элевтии, или Элевсинии «был некогда широко распространен и уже существовал во времена переселения греков» (ук. соч., с. 208). Нам кажется, что культ богини плодородия неизбежно должен был быть и у догреческого населения Мегариды, следы чего отразились в рассказе о сооружении святилищ Деметры Каром. Возможно, судя по характеру жертвоприношения, что у греков Микенской эпохи культ богини Матери был больше связан со скотоводством, а у догреческого оседлого населения «мать-земля» была покровительницей земледелия, что и сказалось на позднейшем развитии культа Деметры. С. Я. Лурье (ук. соч., с. 208) высказывает сомнение в том, что распространенный в Пелопоннесе культ богини Элевсинии существовал в Элевсине в эпоху ионийской колонизации. По свидетельству Андрона (Страбон, IX, 392), область Мегар распространялась при Нисе до Элевсина и Фриасийской равнины. Учитывая тесные культовые связи Мегар с Элевсином (см. Ганель, ук. соч., с. 48–54) и то, что культ Деметры считался в Мегарах древнейшим, возможно предположить, что культ богини плодородия проник в Элевсин из Мегар. Характерно, что в Элевсине он, как и в Мегарах, развивается как культ богини земледелия, а не скотоводства.

<sup>47</sup> Сходная версия приводится еще Аполлодором (Apollod., III, 15, 8) и Геллаником (FGrH, I, 126, frg. 78). В этой статье не приводятся те источники, которые, подобно Страбону (VII, 333; IX, 393 и XIV, 653), связывают основание Мегар с дорийским вторжением, ибо в них говорится о возникновении города, а не его названия.

<sup>48</sup> Такую этимологию с небольшими вариациями принимало большинство ученых XIX в.: Meyer Ed. Geschichte des Altertums. Bd. II. Stuttgart, 1893, S. 269; Wilamowitz U. Homerische Untersuchungen. Berlin, 1894, S. 252; Seeliger K., ук. соч., с. 31 и т. д. Однако ни описания Павсания, ни археологические данные не подтверждают одновременное существование на акрополях нескольких храмов – мегаронов Деметры или нескольких царских мегаронов. Поэтому множественное число в названии города остается необъяснимым.

<sup>49</sup> Fick A., ук. соч., с. 27 и сл.

<sup>50</sup> Bérard V. Les Phéniciens et l'Odyssee, vol. I, Paris, 1902, p. 193; Smith W. Robertson. The Religion of Semites. London, 1894, pp. 193–200. См. также книгу Хайбаргера (ук. соч., с. 88–94), посвятившего названию «Мегары» приложение к III главе. Полемизируя с Виламовицем и Эд. Майером, он приходит к выводу, что название «Мегары» надо переводить «город священных ущелий», а не «замок вождя».

<sup>51</sup> Эрнст Майер (ук. соч., с. 180) признает невозможным доказать, что название «Мегары» происходит от греческого слова μέγας. Ганель (ук. соч.,

с. 24) возражает Вилламовицу, считавшему, что название города связано с дорийским вторжением и утверждает, что название города додорийское.

<sup>52</sup> Помимо разобранной, Павсаний приводит еще одну мегарскую версию (I, 40, 1), согласно которой эпонимом города оказывается местный уроженец Мегар, сын Зевса и одной из Сифхнидских нимф. Нам кажется, что эта явно этимологическая легенда позднего происхождения возникла в противовес беотийской версии, выдвигавшей эпонимом беотийца, сына Посейдона Мегарея.

<sup>53</sup> Bölte u. Weicker, ук. соч., с. 95. Само название Нисеи – Нисы (в схолии к Феокриту, XII, 27 дается также написание Нисса), а также археологический материал говорят о том, что поселение здесь было в догреческий период. Характерно, что и в поздней античной традиции сохранилось воспоминание, что побережье Мегариды было «лелегским» и там были «лелегские» укрепления (Ovid., *Metamorph.*, VIII, 8).

<sup>54</sup> Страбон (IX, 392) пишет: «в древности ионийцы занимали эту страну, те же, которые занимали и Аттику. Мегары еще не были основаны». Нельзя согласиться с переводом Ф. Мищенко (География Страбона. М., 1879, с. 405), который слова «οὐλοῦ τῶν Μεγαρέων ἐκτισμένων» переводит «когда мегарцев здесь еще не было». Подробный разбор общеионийских культов и мифов, распространенных в Мегарах, дан в книге Ганеля (ук. соч., с. 55–68).

<sup>55</sup> Strabo, IX, 392 (со ссылками на авторов Аттиды и на Софокла); Paus., I, 39, 4; Herod., V, 76; Plat., Crit., 110 d и др.

<sup>56</sup> Здесь не будет затронута дискуссия о подлинности «Каталога кораблей». Наряду с отдельными поздними вставками (например, стих 558) наличие ряда необъяснимых архаизмов, подобных разбираемому, говорит во всяком случае о древности этой части «Илиады».

<sup>57</sup> Meyer Ernst, ук. соч., с. 181; Meyer Ed., ук. соч., т. II, с. 269 и сл.; Highbarger E. L., ук. соч., с. 72 и др.

<sup>58</sup> Сходный с рассказом Плутарха миф о союзе беотийцев и мегарян рассказывает и Павсаний (I, 39, 5). Ср. также Apollod., III, 15, 8. Теория, что Мегарида была заселена ионийцами из Беотии, впервые выдвинута Вилламовицем (Hermes, IX, 1875, S. 324), развита им же в *Homerische Untersuchungen*. S. 252. Его поддержал Бузольт (Busolt G. *Griechische Geschichte*. Bd. I. Gotha, 1893, S. 220 f.). Наиболее подробно эта теория обоснована в указанной выше книге К. Ганеля, посвятившего целую главу доказательствам близости додорических Мегар и Беотии в области религиозных культов (с. 18–68).

<sup>59</sup> Такое объяснение, нам кажется, снимает возражения Эд. Майера (ук. соч., т. II, с. 269), что в случае независимости Мегариды от Афин в подробном перечне, данном в «Илиаде», не могли бы отсутствовать мегарские города Эгосфены, Паги и др.

<sup>60</sup> См. Колобова К. М. К вопросу о минойско-микенском Родосе и проблеме переходного периода в Эгеиде (1100–900 гг. до н. э.). Уч. зап. ЛГУ, № 192, серия исторических наук, вып. 21, Л., 1956, с. 30 сл. Ср. Daniel J. F., Broneer O., Wade-Gery H. T. The Dorian Invasion, AJA, II, 1948, p. 112 f.

<sup>61</sup> Ф. Кауэр (ук. соч., с. 42 сл.) приводит в качестве доказательства ранней доризации Мегариды то, что там не было ни одной недорической фило. Мы уже отмечали, что причина бесследного исчезновения коренного населения лежит, по-видимому, в своеобразных природных условиях страны. Уэйд-Джери (ук. соч., с. 534) считал возможным говорить о завоевании Мегариды с севера, однако, как видно из приведенной выше его работы 1948 г., он отказался от этой гипотезы. Больше всего места обоснованию такого взгляда на завоевание Мегариды уделено в книге Хайбаргера. Доводы Хайбаргера (с. 95) характерны для этого исследователя. Взяв из Павсания (I, 43, 3) сообщение, что Гиперион, сын Агамемнона, был изгнан из Мегар, он отождествляет этот факт с возвращением Гераклидов. Приняв свидетельство традиции (Геродот, IX, 26), что от Троянской войны до возвращения Гераклидов прошло два поколения, и считая, вслед за Геродотом, что три поколения составляют век, Хайбаргер точно «установил», что вторжение дорийцев в Мегару произошло (1184 минус 67) в 1117 г. до н. э. На этом основании он и приходит к выводу, что Мегары были одним из первых государств, подвергшихся доризации. В другом месте (с. 82) Хайбаргер «определил» время древнейшего поселения на Карии XIX в. до н. э., подсчитав все поколения мифического списка царей. Ненаучность подобного «метода» не требует доказательств.

<sup>62</sup> Meyer Ed., ук. соч., т. II, с. 268; Meyer Ernst, RE, XV, с. 182 и др.

<sup>63</sup> См. Wilamowitz U. Aristoteles und Athen. Bd. II. Berlin, 1893, S. 180.

<sup>64</sup> К. Hanell, ук. соч., с. 70.

<sup>65</sup> Еще раньше предположение, что доризация Мегариды могла идти из Аргоса, высказал Дж. Бери (Bury J. The History of Greece. London, 1913, p. 62 f.).

## КОРПУС ФЕОГНИДА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ МЕГАР

Стихотворения Феогида дошли до нас в нескольких рукописях X–XIII и XV вв., лучшей и наиболее полной из которых является так называемая Мутинская, единственная из рукописей, сохранившая и вторую книгу элегий. Первая книга содержит стихи (1–1230) самого различного содержания, главным образом всякого рода поучения, так называемые «гномы», и застольные песни – «сколии». Вторая книга содержит стихи (1231–1389) исключительно любовного содержания, обращенные к другу автора Кирну.

Неподдельная страстность автора, глубокий пессимизм, пронизывающий все его творчество, находили широкий отклик в мировой литературе, и сборник Феогида переводился на многие европейские языки. Нельзя также обойти молчанием тот факт, что в России знакомство с творчеством Феогида восходит к XV в., когда отдельные его стихи были переведены в «Книге Пчеле – речи и мудрости от евангелия и от святых муж и философ», и что переводами из Феогида занимались не только специалисты (Блуменау,<sup>1</sup> Церетели<sup>2</sup> и др.), но и такие известные русские писатели как В. В. Вересаев.<sup>3</sup>

О высокой оценке произведений Феогида в античности говорит то, что до нас дошло сравнительно большое количество его произведений; писатели V и IV вв. до н. э. широко использовали его стихи,<sup>4</sup> ссылались на них и даже ремесленники украшали изречениями из Феогида свои вазы.<sup>5</sup>

В нашу задачу не входит проследить литературное значение исследуемого автора, и произведения его интересуют нас прежде всего с точки зрения их исторического содержания.

Элегии, политически направленные в основной своей массе, дают яркий образ аристократа, ненавидящего «чернь»,

призывают к борьбе с ней, но непосредственно ничего не рассказывают об этой борьбе, вокруг которой, однако, вращается все творчество Феогида. Причиной тому были условия, современные поэту: по ничем не приглушенной силе страсти, дышащей в каждой строке, мы можем судить, что стихотворения создавались «ad hoc» в пылу борьбы, когда разглашать действия и планы своей партии было бы изменой и глупостью. Писать *все* можно было только о том, что прошло, а то, что прошло, теряло уже актуальность и интерес для поэта, стоявшего непосредственно в самом центре партийной борьбы. Именно то, что отдельные моменты борьбы самого поэта и его группы открыто не изложены в элегиях, и дало возможность целому ряду авторов совершенно игнорировать политическое содержание его стихов.

Среди огромного количества специальной литературы о Феогиде лишь немного страниц посвящено этому вопросу.<sup>6</sup>

Наиболее характерна здесь статья Вольфа Али 1934 г.,<sup>7</sup> помещенная в энциклопедии классической древности Паули-Виссова. Статья ограничивается указанием на достоверно установленные интерполяции, изложением предположений о времени и месте жизни Феогида, а также гипотез о целях и системе составления сборника его элегий. О Феогиде как о поэте борющейся политической партии не сказано ни слова, и успех его у афинских аристократов объясняется его «серьезностью».

Особо стоит статья Фридриха Ницше, которая, сильно идеализируя и извращая Феогида, пытается представить его образцом политического деятеля современности. На происхождении и опровержении этой «теории», тесно связанной с фашистской идеей сверхчеловека, придется остановиться подробнее в связи с разбором самих элегий.

В русской литературе специальные исследования, посвященные Феогиду, полностью отсутствуют. В «Истории греческой литературы», выпущенной Академией наук в 1946 году, Феогиду посвящено несколько страниц в статье Н. И. Новосадского. Кроме общеустановленных фактов биографии Феогида и нескольких примеров из его творчества, в статье ничего нет. То же относится к литографированному курсу проф. А. Ф. Семенова «Очерк истории греческой ли-



рики классического периода» (Ростов-Дон, 1916), курсам проф. Н. Ф. Дератани (1938), С. И. Радцига (1940) и И. М. Тронского (1946).

Дошедший до нас сборник элегий Феогида Мегарского в его настоящем виде представляет собой запутаннейший клубок стихотворений различной величины и содержания. Попытка в нем разобраться создала огромную литературу, но до сих пор, кроме установления немногих безусловно не подлинных стихотворений, случайно попавших в сборник, наука не пришла ни к каким определенным выводам об этих элегиях. Трудность заключается в том, что исследователь не может здесь затронуть ни одного самого незначительного вопроса, не втягиваясь в основной спор о причинах создания сборника, о времени и месте жизни его автора.<sup>8</sup>

Эти вопросы не могут быть безапелляционно решены при наличии противоречий в источниках.<sup>9</sup> Исходя из необходимости считать подлинными все стихи, неподлинность которых не может быть доказана, следует отвергнуть попытки отнести родину поэта на остров Сицилию и принять наиболее распространенную теорию происхождения поэта из Нисейских материковых Мегар, относя время его жизни ко второй половине VI и первой четверти V века до н. э.<sup>10</sup>

Противоречия между словами самого автора и свидетельствами источников о нем — Платона, а следовательно, и Свида, остроумно объясняет В. Али, который считает, что в своих странствиях (с. 17, стихи 783–788) Феогид, возможно, и получил права гражданства в Сицилийских Мегарах, бывших колонией Нисейских и сохранивших еще аристократическое правление (ср., например, тот факт, что происходивший из Галикарнасса Геродот обычно называется Геродот Фурийский).

На время жизни Феогида указывают стихи 764 и 775, которые говорят об опасности, грозящей родному городу от персов. Это мог быть только поход Мардония 492 г.<sup>11</sup> Свидетельства других источников (Свида, Евсевий) относят «акмэ» (время зрелости) Феогида к третьему году 58-й олимпиады, т. е. к 546 г. Здесь расхождение источников и текста вполне примиримы.

Если вопросы о времени и месте жизни поэта разрешаются вполне удовлетворительно,<sup>12</sup> то значительно хуже обстоит дело с объяснениями композиции сборника.

Наличие в сборнике заведомо чужих элегий (вплоть до стихов неизвестной поэтессы: «Скверных мужей не люблю, и когда мимо них прохожу я, // Не открываю лицо и словно птичка дрожу» (579–580), непонятно каким образом попавших в сборник и совершенно не подходящих суровому, но временами бесстыдному и разгульному Феогниду) дало возможность ряду авторов<sup>13</sup> подойти гиперкритично ко всему сборнику в целом. Считая его антологией, составленной из стихотворений многих поэтов, они не учитывают яркой печати индивидуальности, лежащей на основной массе стихов. Механическое объединение произведений различных авторов никогда бы не могло дать читателю такого четкого и до мелочей характерного образа поэта, какой мы находим в корпусе Феогнида.

До сих пор пользуется признанием некоторых ученых<sup>14</sup> совершенно искусственная теория слов-ориентиров (Stichwörter) Фридриха Ницше,<sup>15</sup> пытающегося объяснить всю композицию механическим принципом. Суть этой теории, впервые намеченной уже Велькером, заключается в том, что все элегии будто бы соединены цепочкой «слов-ориентиров», связывающих каждую элегию с последующей и предыдущей. Так, если в первой элегии встречается слово «Зевс», то во второй тоже должно встретиться слово «Зевс», а также некое другое, которое свяжет эту элегию с последующей. В тех случаях, когда такую связь найти невозможно, теория утверждает, что в нашей рукописи выпала элегия, заключавшая эту связь, но она содержалась в сборнике первой редакции. Это соображение неверно уже потому, что, допустив его, мы получим невероятную вещь. Вся предыдущая история текста (до V в. н. э., когда, согласно Ницше, произошло редактирование текста по «словам-ориентирам») говорит нам о процессе выпадения и *вставок*. После редактирования процесс выпадения продолжается и в цепочке образуются лакуны, но процесс вставления таинственным образом прекращается. Ведь при вставке после лакуны, не содержащей «ориентира», мы должны были бы найти его в следующей элегии. Од-

нако такого случая мы не встретим на всем протяжении текста.

Как же, однако, собраны основные массы подлинных элегий? Мне думается, что неверно считать расположение стихов вовсе бессистемным.<sup>16</sup> Всякий, кто прочтет подряд весь корпус, найдет, что он состоит в основном из *компактных смысловых масс*, отдельных слоев, внутренняя тематическая и смысловая связь которых несомненна и не может быть объяснена только необходимостью включать в рядом стоящие элегии «слова-ориентиры». Ясно видно, что элегии связаны прежде всего своим содержанием, а не «словами-ориентирами».

Возьмем вступление – обычное для всякого античного поэта обращение к богам. Несколько элегий обращены к Аполлону, Артемиде, Харитам и Музам. Сходство содержания показывает, что элегии должны стоять вместе. А Ницше<sup>17</sup> утверждает, что они стоят вместе только потому, что их объединяет слово (Dios) «Зевсом» (рожденный), хотя в этом слове в данном контексте нет ничего характерного. Поэт просто не мог, прославляя богов, не упомянуть об их родителях, так как упоминание отца входит обязательным элементом в греческое поэтическое обращение. Мало того: для проведения своей теории Ницше соединяет две безусловно различные элегии (1–4 и 5–10) в одну,<sup>18</sup> так как в обеих содержится лишь одно «слова-ориентир». К этому приему он неоднократно прибегает при установлении и дальнейших звеньев «цепочки».<sup>19</sup>

Теория *компактных смысловых масс*<sup>20</sup> может быть подтверждена на анализе всего корпуса Феогнида. Это, конечно, не значит, что она объясняет расположение всех решительно элегий. В слишком испорченном, изуродованном византийскими монахами виде дошел до нас корпус, чтобы можно было объяснить его расположение во всех частностях. Бывает, что в большой, объединенный определенной идеей массив вклинивается случайная, не имеющая к нему никакого отношения элегия. Бывает, что смысловые массивы раздроблены: одна и та же тема встречается в нескольких местах, в каждом, однако, значительной массой в несколько десятков стихов. Бывает, что невозможно найти объединяющую тему

для довольно значительных частей корпуса, однако общая тенденция, проходящая через весь сборник, выражена четко.

После вступительного обращения к богам (четыре элегии), смысловое единство которого бесспорно, идут также вступительные стихотворения: 1) ключ подлинности (Сфрагис, 19–26), 2) посвящение Киру (27–38). Эти шесть элегий тесно связаны между собой своим вступительным характером.<sup>21</sup> Сразу же за ними идет наиболее интересная для нас тема политической борьбы, переплетенная с пессимистическими высказываниями автора, порожденными неудачами его группы в этой борьбе.

Тема эта, поданная часто в скрытом, замаскированном виде, занимает огромный массив элегий с 39 по 210-ю строку, чтобы после небольшого перерыва, где она проскальзывает среди других элегий гномического, т. е. поучительного содержания, вновь появиться сплошной массой (279–308). Дальнейшие стихи продолжают развивать эту тему призывами к новой борьбе за возвращение утраченного, хотя они раздроблены и перемешаны с банальными поучениями. В них мы встречаем, правда меньшие, массивы единого содержания: жажда мести (337–350), тема тяжелой бедности (351–360), тема несправедливости богов (373–386).

Но вот новый массив: устав от неудачной борьбы, Феогнид ищет забвения в вине и попойках (467–510). Снова массив, отражающий ожесточенную борьбу (535–555), горькие жалобы на богов, изменивших делу благородных (731–756). С 885-й строки начинается интересный массив, до сих пор никем не истолкованный, – свыше ста стихов рассказывают о войнах, грабежах, попойках среди рыдающих врагов, поражениях. Это годы наемничества. Изгнанный из своей отчизны Феогнид служит городам, сохранившим аристократическое правление. О наемничестве прямо говорят стихи:

Ухом не слишком склоняйся к призывам глашатая громким:  
Помни, – сражаемся мы не за родную страну. (887–888)

*(Перевод В. Вересаева)*

Не нужно предположение Геффкена<sup>22</sup> об интерполяции стихов какого-то еврейского поэта, чтобы объяснить следующие за этим стихи о войне за Лелантскую равнину.

Вся Греция объята гражданской войной. И часто приходится Феогниду менять хозяев, так как аристократическое правление непрочно уже во многих городах. Так можно объяснить находящееся в этом массиве загадочное стихотворение:

Прежде, когда в роднике черноводном я брал себе воду,  
Сладкой казалась мне и превосходной вода.  
Ныне она замутилась, вода загрязнилась илом.  
Буду я пить из другой речки или родника. (959–963)

*(Перевод В. Вересаева)*

И, наконец, вся вторая книга (1230–1389), целиком посвященная эротическим элегиям любви к мальчику. Что представляет собой она, как не единый смысловой массив?<sup>23</sup>

Следует еще остановиться на могущем возникнуть предположении о принадлежности смысловых массивов разным авторам.<sup>24</sup> Против такого предположения говорит прежде всего единство образа автора, трактуемых им тем и его литературных приемов. Кроме того, едва ли можно предположить, чтобы мы ничего не знали из других источников о других крупных мегарских поэтах, создавших значительное количество стихов.

Наибольший интерес для нас представляет компактная масса политических стихов в начале сборника. Эти стихи за немногими исключениями рассматривались до сих пор как «житейская мудрость», и исследователи не видели или не хотели видеть их остро политического, «партийного» смысла, а переводчики переводили согласно своему пониманию, стараясь толковать Феогнида в плане «общечеловеческой морали», искажая подлинник.

Эти элегии рисуют нам картину партийной борьбы в городе в ее историческом развитии. Элегия первая<sup>25</sup> (39–52): картина города, где аристократия еще держит власть, «еще благоразумны граждане», но в обманчивой тишине, в которой покоится город, «уже зреют грозные восстания», нарастают «народные страсти». «Дерзновенный муж» готовится «извлечь себе пользу из народных страстей» и встать во главе восстания. Тревожно предупреждает Феогнид свою группу о готовящемся взрыве – но поздно. Элегия вторая (53–60) сообщает нам о происшедшем демократическом перевороте.

Город наш все еще город, о Кирн, но уж люди другие:  
Кто ни законов досель, ни правосудья не знал,  
Кто одевал себе тело изношенным мехом козлиным  
И за стеной городской пасса, как дикий олень, –  
Сделался знатным отныне. А люди, что знатными были,  
Низкими стали. Ну кто б это все вытерпеть мог?

*(Перевод В. Вересаева)*

Последний вопрос звучит призывом. Могут ли «благородные» вытерпеть этот «перевернутый порядок» без того, чтобы любой ценой не попытаться вернуть былые привилегии «доброего времени»? – спрашивает Феогнид, представитель и певец античной аристократии. Ответ на этот вопрос мы находим в дальнейших элегиях Феогнида в скрытом, замаскированном виде. Форма – обычная античная гнома-поучение. Содержание – внешне невинное. Оставлена тема необходимости борьбы. Как будто примиренность. Немножко горечи. Но почему в каждой элегии Феогнид затрагивает один и тот же вопрос? «Будь осторожен, Кирн, с нашими гражданами», – говорит он в третьей элегии (61–68). И далее:

Всячески всем на словах им старайся представиться другом,  
Важных же дел никаких не начинай ни с одним. (63–64)

*(Перевод В. Вересаева)*

«С важным делом, Кирн, не обращай к людям низкого происхождения», – советует он в четвертой элегии (69–72).

Лишь к благородным иди, если даже для этого нужно  
Много трудов перенести и издалека прийти. (71–72)

*(Перевод В. Вересаева)*

Об этом же говорит и пятая гнома (73–74):

Также не всякого друга в свои посвящай начинанья:  
Много друзей, но из них мало кто верен душой.

*(Перевод В. Вересаева)*

Шестая гнома (75–76) развивает мысль пятой, грозя ослушнику тяжелой, непоправимой бедой:

Дело задумав большое, умей доверяться немногим,  
Иначе будет, о Кирн, непоправима беда.

*(Перевод В. Вересаева)*

Вновь подчеркивается ценность верных людей в седьмой гноме (77–78):

Не дорожи серебром или золотом. Верные люди  
Стоят дороже, о Кирн, в междоусобной борьбе.<sup>26</sup>

Восьмая (79–82) и девятая (83–86) элегии снова говорят о том, как немного осталось верных людей, которым можно было бы довериться «в труднейших делах» и которые «были бы готовы разделить с товарищами счастье и горе». Таких людей, которые не «стали бы делать подлостей», когда «их поманит выгода», можно «легко и свободно уместить на одном корабле».

У человека, не готовящегося к какому-то рискованному предприятию, нет такой подчеркнутой необходимости в «верных людях». Эти «верные» не просто товарищи. Они должны быть готовы к счастью и к горю, должны связать свою судьбу с поэтом и его группой. И их задача – не только пассивная оппозиция новому «перевернутому» строю, ибо в таком случае им не грозила бы «непоправимая беда» из-за чрезмерной доверчивости.

Вывод напрашивается сам.

Аристократическая группировка не хотела и не могла примириться с новым государственным строем. После переворота, оставшись в городе, она с чрезвычайной осторожностью начинает собирать своих сторонников с целью вернуть старый порядок.<sup>27</sup> Исторический ход развития ведет город к демократическому полису. У аристократической группки не много сторонников. Все чаще и все отчетливее проскальзывают в последующих элегиях Феогнида нотки разочарования. Даже в ближайшем друге своем, Кирне, Феогнид начинает сомневаться (87–109). Горькие жалобы на ненадежность политических сообщников слышатся в строках 115–116:

Милых товарищей много найдешь за питьем и едою.

Важное дело начнешь – где они? Нет никого!

*(Перевод В. Вересаева)*

Проходящая в последующих трех элегиях (117–128) подчеркнутая тема боязни лживых людей, рассказ о людях, «которых зовем мы друзьями», но которые «прячут в груди коварное сердце», советы долго испытывать каждого человека прежде чем считать его своим другом, заставляют нас думать, что все больше бывших друзей Феогнида переходят на сторону нового порядка.

Поражение в политической борьбе обусловило неуверенность и пессимизм в мировоззрении, сознание собственной беспомощности: «Жалко – беспомощен человек, ничтожны его силы» (140). «Не дано знать человеку, что готовит ему день приходящий и ночь» (160).

Глубочайший пессимизм:

Разное горе у разных людей. Но на скольких ни смотрит  
Солнце, счастливого нет между людей никого. (167–168)

*(Перевод В. Вересаева)*

С новым порядком приходит к Феогниду и бедность: «Ужасней всего нищета, – горько жалуется он. – Чтобы избежать ее, стоит броситься и в глубокую бездну морскую и в пропасть с высокой скалы» (175–176).

И наконец, изгнание Феогнида из демократических Мегар – неизбежное завершение всех предшествующих событий (209–210).

Так перед нами разворачивается в смысловой последовательности первая, наиболее важная компактная масса текста, посвященная политической борьбе: город накануне переворота, переворот, подготовка аристократического восстания, отход от него части предполагаемых участников, лишение аристократов их поместий и имущества и отсюда бедность, наконец, тяжелое изгнание, где нет уже больше «ни милых друзей, ни товарищей верных» (209), – такая смена тем невольно вызывает у читателя картину *не только смысловой, но и исторической последовательности*.

Как же произошел демократический переворот? Кто стал во главе нового строя? Попытку разрешения этих вопросов можно предложить, рассмотрев представления Феогнида о «добрых» (ἀγαθοί) и «подлых» (κακοί) людях благородного и низкого происхождения. Сперва кажется несколько странным, что Феогид, требующий сословной чистоты брака, причисляющий благородных к особой, более высокой «породе» (183–196), как будто изменяет этой своей позиции:

Если б умели мы разум создать и вложить в человека,  
То у хороших отцов не было б подлых детей.<sup>28</sup> (435–436)

Соблазнительно попытаться объяснить эту мысль поэта, противоречащую его обычным утверждениям, тем, что здесь



термины *ἀγαθοί* и *κακοί* взяты не как сословные, а скорее как моральные критерии. Но такая попытка будет идеализацией Феогида и искажением его морали. Ведь в той же элегии, четырьмя строками выше, Феогид категорически утверждает, что невозможно сделать «подлого» «благородным», нет еще таких врачей, которые были бы на это способны (431–434). В упомянутой выше элегии (183–196), где Феогид жалуется на деньги, заставляющие благородных жениться на низких, он этим объясняет ухудшение породы сограждан: «Не может у подлой женщины родиться благородный сын». Но почему же тогда возможно обратное: «подлые дети у благородных родителей»?

Единственно возможное объяснение – это предположить, что под влиянием междоусобной войны Феогид расширяет понятие «подлых», включая в него не только все простонародье, но и всех благородных, примкнувших к демократической партии.

Вся история борьбы за демократический полис говорит нам, что это было нередким явлением. Иногда благородные переходили на сторону демократии и, опираясь на массу, захватывали себе неограниченную власть в городе. Это были тираны. Таким, например, был Писистрат, происходивший, как известно, из знатного рода.

Против этих-то «подлых детей благородных отцов» и направлены многие элегии Феогида. «Не все подлые родились подлыми из чрева матери», – говорит он (305–308), но, «заключив союз с подлыми (по рождению) людьми, научились они гнусным делам, отвратительным речам и самоуправству, считая, что то, что говорят эти люди (подлые по рождению) – правда».

Еще в первой элегии, посвященной междоусобной борьбе, упоминает он о «дерзком муже, готовящемся стать тяжких восстаний вождем» (40), и надо думать, судя по той ненависти, с которой относится Феогид к этим людям, что переворот в Мегарах был возглавлен именно ими.

В настоящей короткой статье я не думаю охватить все вопросы, которые неминуемо встанут перед исследователем творчества Феогида Мегарского. Но уже черновая работа, проделанная в настоящем исследовании, позволяет нам раз-

глядеть характерный для эпохи образования рабовладельческих государств в Греции яркий образ политического деятеля – аристократа и певца отживающей родовой знати. Анализ его творчества позволяет восстановить некоторые эпизоды социальной борьбы того периода, показать беспринципность и ожесточенность, характерные для гибнущего класса.

Вся его жизнь посвящена борьбе с демократией. Бешеной ненавистью полны его стихи:

Твердой ногой наступи на грудь суемыслящей черни,  
Бей ее медным бодцом, шею пригни под ярмо. (847–848)

Еще до демократического переворота использует он свое поэтическое дарование, чтобы подготовиться к приближающемуся взрыву народного возмущения. Бешено борется он после переворота с новым порядком. Изгнание не заставляет его прекратить свою деятельность.<sup>29</sup> Война против аристократии перекидывается за пределы отдельных полисов и охватывает всю Грецию. На пышной богатой Евбее и в далекой Сицилии борется он с оружием в руках против демократии. И там он не простой наемник. Он жестокий враг, единственная радость которого – слезы и горе противника:

Флейту сюда и вино. Пусть враг рыдает. Смеяться  
Будем мы, пить и петь, грабя именье врага. (1041–1042)

В борьбе с врагом хороши все средства. Феогнид советует своим сторонникам притворством вкрасться в доверие, чтобы потом, воспользовавшись им, мстить, когда только будет случай:

Сладко баюкай врага. А когда попадет тебе в руки,  
Мсти ему и не ищи поводов к мести тогда. (363–364)

Опять и опять, настойчиво и упрямо, возвращается он к своей проповеди вероломства и лицемерия (1071–1074):

Каждому другу, о Кири, переменчивый образ являя,  
Приноровляй ты свой нрав собственный к нраву его.  
Следуй сейчас одному, а назавтра свой нрав измени ты:  
Доблести самой большой хитрая мудрость сильней.

*(Перевод мой)*

Но все усилия тщетны. Даже человек сильной воли, каким, очевидно, был Феогнид, не мог повернуть назад колесо

истории. Принуждаемый «могучей необходимостью» (196), он сам, очевидно, должен был, вопреки своим убеждениям родового аристократа, заниматься морской торговлей. Об этом прямо говорят следующие стихи (1201–1202):

Полям цветущим моим теперь завладели другие.  
Лишь мореходство одно было причиной тому.

*(Перевод мой).*

Это включение в новые отношения не характерно для Феогида. В основе своей он аристократ, представитель победенной, но не окончательно раздавленной реакции.

Таким он вошел в историю. Проследить влияние Феогида на афинских аристократов IV века, на эллинистическую эпоху, на римское время – интересная и малоразработанная проблема. Мы знаем, что Платон неоднократно цитировал Феогида, много писал о нем, что свое сравнение государства с кораблем, гонимым бурей, он заимствовал у Феогида. Исократ призывал больше читать Феогида и учиться его мудрости. У Стобея упоминается даже целое сочинение Ксенофонта «О Феогиде» и приводится из него цитата.

И в новое время пытались использовать Феогида, его ненависть к простонародью, его проповедь борьбы с ним любыми средствами. Запутанная теория Ф. Ницше о расположении стихов в сборнике, которая, казалось бы, носит «чисто филологический» характер, в своих выводах приобретает резкую политическую окраску. Эта теория, тесно связанная с общим философским мировоззрением Ницше, направлена к идеализации Феогида и его принципов. Объясняя искусственное расположение стихов по «словам-ориентирам» наличием какого-то редактора, она утверждает враждебность этого редактора Феогиду. Ницше пишет: «Редактор искал какого-либо оружия, чтобы повредить Феогиду, и вот он вставляет заведомо чужие стихотворения, чтобы читатель заподозрил Феогида в плагиате». По мнению Ницше, проповедь подлости и притворства, стихотворения о пьянстве и разгуле и элегии о любви к мальчику также вставлены враждебным редактором, чтобы заслонить от потомства «светлый образ» аристократа Феогида. Освободив Феогида от черт, не подходящих к его концепции, и модернизировав оставшие-

ся, Ницше получает свой идеал: человека, стоящего вне морали, «по ту сторону добра и зла».

Для нас творчество Феогида интересно прежде всего как источник по истории периода становления государства. Результатом этой борьбы, как ни пытались аристократы отстоять свое привилегированное положение, было то, что власть их была сломлена.

## Примечания

<sup>1</sup> Блуменау Л. В. Греческие эпиграммы. М.—Л., 1935.

<sup>2</sup> Церетели Г. Ф. Греческая литература. Т. 1 А. Образцы. Тифлис, 1927.

<sup>3</sup> Нилендер В. О. Греческая литература. Хрестоматия. М., 1939.

<sup>4</sup> Ксенофонт у Стобея V, 24; Платон. Законы I, 630 A; Аристотель. Евдемова этика VII, 10, 1243 а 16.

<sup>5</sup> Köhler U. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung 9, 1884, 1 сл.

<sup>6</sup> См., например: Welcker F. Theognidis Reliquiae. Frankfurt, 1826; Grote G. History of Greece, III; Duncker M. Geschichte des Altertums, VI, 5; Cauer F. Parteien und Politiker in Megara und Athen. Stuttgart, 1890. Характерно, что эти работы, ставящие вопросы об историческом содержании стихов Феогида, относятся к прошлому веку.

<sup>7</sup> Aly W. Theognis. Pauly-Wissowa-Kroll Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, VA-2. 1934.

<sup>8</sup> Ср. Reitzenstein R. Epigramm und Skolion. Giessen, 1893.

<sup>9</sup> Платон. Законы I, 630 A; Дидим в схолиях к этому месту Платона; биографический словарь Свида: Гарпократион «Феогид».

<sup>10</sup> Новые доводы в пользу происхождения Феогида из Нисейских Мегар приводит Якоби (Jacoby F. Theognis. Sitzungsberichte der Preussischen Akad. d. Wiss. in Berlin. Philol.-hist. Klasse, 1931, S. 88 ff.). Граждане Сицилийских Мегар, некогда колонии Мегар Нисейских, всегда прибавляли к названию своего города указание на его местонахождение, а жители Нисейских Мегар в VI и V веках назывались просто мегарцами. Термин «Нисейские Мегары» впервые появляется в IV в. у Эфора. Кроме того, как указывает тот же Якоби, уже совершенно бесспорны стихи 11–14. Храм, согласно преданию построенный Агамемноном при походе на Троию, находился в центре Нисейских Мегар (Павсаний I, 43), а невозможно предположить, чтобы во вступительных стихах, призывающих милость богини, молящий ссылался бы на чужую святыню.

<sup>11</sup> Для датировки творчества Феогида интересны также стихи 891–894. Здесь говорится о разграблении Лелантской равнины Кипселидом. Оче-

видно, это – датируемый концом VI века поход Мильтиада, принадлежащего к роду Кипсела.

<sup>12</sup> Это не мешает, однако, ряду историков – Ю. Белоху (Gr. Gesch. II, S. 365 f.), Глоцу (Hist. Gr. 1925), Эрнсту Мейеру (R. E. Pauly-Wissowa-Kroll s. v. Megara, R.E. XV, 1931, с. 152–205) – придерживаться теории происхождения Феогида из Сицилийских Мегар. Однако все их доводы удачно опровергаются в указанном исследовании Якоби.

<sup>13</sup> Wendorff F. Der aristokratischer Sprecher der Theogn. Spruchsammlung. Berlin, 1909 и Jacoby F., ук. соч.

<sup>14</sup> Christ W., Schmid W. Griechische Literaturgeschichte, 6 изд. 1912 г., а также В. Али (ук. соч.) стоят за правильность этой теории с известными оговорками.

<sup>15</sup> Nietzsche F. Zur Geschichte der Theognidischen Spruchsammlung. Rheinisches Museum N. F. T. 22 H. 2 (1867) S. 161 f.

<sup>16</sup> Christ W., Schmid W. Ук. соч. (с. 180) считает, например, что разобраться в элегиях Феогида – Сизифов труд для филологов.

<sup>17</sup> Там же, с. 176

<sup>18</sup> На том, что это две самостоятельные элегии, сходятся все исследователи, а Якоби даже утверждает подложность и афинское происхождение второй элегии.

<sup>19</sup> Например, разбивка: 19–30 и 31–38 вместо 19–26 и 27–38 и т. д.

<sup>20</sup> Попытка «смысловой» интерпретации корпуса Феогида была дана еще ранее (Welcker F., Theognidis Reliquiae, 1826). Но Велькер не рассматривает элегии в их историческом развитии, а просто их распределяет по им самим изобретенным отделам: «Гномы Кирну», «Наставления друзьям» и др. Производя произвольную перестановку элегий, он совершенно отходит от попытки их анализа со смысловой исторической точки зрения.

<sup>21</sup> Подробнее об этих элегиях см. у Якоби, который детальным филологическим анализом доказывает их взаимную связь.

<sup>22</sup> Geffken. Griechische Literaturgeschichte. Heidelberg, 1926, I, 122 сл.

<sup>23</sup> Теории, опровергающие подлинность второй книги и утверждающие более позднее ее происхождение, следует отвергнуть после открытия Келера, нашедшего стих 1365 на Танагрской вазе первой четверти V века.

<sup>24</sup> Аналогичное предположение высказано Якоби, разбивающим сборник на 4 книги: книгу, посвященную Кирну, книгу неизвестного афинянина, книгу мегарца второй четверти V века и вторую книгу сборника эротического содержания.

<sup>25</sup> Это не первая элегия сборника, а первая элегия рассматриваемого смыслового массива. В дальнейшем также даны номера элегий в смысловом массиве.

<sup>26</sup> Верный своей тенденции найти общечеловеческие мотивы в поэзии Феогида, Вересаев переводит прорвавшуюся в этом месте, несмотря на внешнюю маскировку, острополитическую фразу Феогида: «Во время тяжелой междусобной борьбы» (ἐν χαλεπῇ διχουστάσει) в общечеловеческом смысле: «В жизненной тяжкой борьбе». Мною дан исправленный перевод В. Вересаева.

<sup>27</sup> Нет ничего удивительного в том, что Феогид подчас довольно прозрачно намекает на этот заговор в своих элегиях, которые предназначались первоначально для узкого круга друзей. Аналогию мы имеем в политических стихотворениях Алкея. Одно призывает заговорщиков к осторожности:

Ты киркой шевели, каменотес, бережно хрупкий пласт:  
Не осыпал бы с круч каменный град буйную голову...

Другое непосредственно зовет к восстанию:

Медью воинской весь блестит, весь оружием убран дом,  
Арею в честь.

.....  
Ничего не забыто здесь; не забудем и мы, друзья,  
За что взялись.

*(Перевод В. Иванова)*

Скрытый смысл этих стихотворений давно расшифрован и общепризнан в науке.

Не может служить доводом также и отсутствие других источников о заговоре аристократии, ибо, как справедливо заметил В. Али, мы можем скорее воссоздать историю Мегар по контуру биографии Феогида, нежели получить какие-либо сведения о его жизни из малоизвестной истории города в VI в. до н. э.

<sup>28</sup> Здесь, как и выше, даю исправленный перевод В. Вересаева

<sup>29</sup> См. указание Свида на не дошедшую до нашего времени элегию Феогида на спасение осажденных сиракузских аристократов.

М. Н. Ботвинник, А. А. Нейхардт

## КНИГА ОБ АЛЕКСАНДРЕ МАКЕДОНСКОМ ФРИЦА ШАХЕРМАЙРА

«То, что касается Александра, известно всем», – писал путешественник Павсаний (VIII, 7, 7) четыреста лет спустя после походов великого завоевателя, а другой писатель приблизительно того же времени утверждал, что «нет человека, о котором писали бы больше и противоречивее»<sup>1</sup>. Прошедшие с тех пор века не ослабили интереса к судьбе великого завоевателя, и даже невежественный городничий в гоголевском «Ревизоре» не отрицал, что Александр Македонский – герой, хотя и не рекомендовал на этом основании ломать стулья и наносить убыток казне. Все же ожесточенные споры об Александре не затихали, не только стулья, но даже копья ломали не одни лишь учителя, но и крупнейшие ученые-античники.

Немало сил потратили и ориенталисты на изучение Восточного похода Александра, пытаясь выяснить причины его быстрых побед, а также определить влияние македонских завоеваний на развитие стран Переднего Востока и Средней Азии. В их спорах, казалось бы, по сугубо научным вопросам нетрудно подчас почувствовать и злобу дня, угадать политическую позицию того или иного ученого. Большинство западных историков XVII, XVIII и даже XIX вв. признавали идеалом общественного строя афинскую демократию эпохи Перикла. К возвышению Македонии, положившему конец независимости Афин, и к македонским царям Филиппу и Александру многие историки того времени относились с нескрываемой неприязнью. Такую позицию занимали и наиболее известные представители историографии первой половины XIX в.: Нибур, Грот, Курциус и др. Дройзен с его восторженным преклонением перед великим завоевателем стоит особняком среди ученых того времени. В эпоху империализма за-

падная наука резко меняет свое отношение к возвышению Македонии и к Александру. Пельман одобряет идею Александра создать государство, «обнимающее главнейшие культурные народы и сглаживающее их особенности на почве возможно более космополитической культуры»<sup>2</sup>. Эд. Мейер в работе «Александр Великий и абсолютная монархия»<sup>3</sup>, Керст, Вилькен и другие немецкие историки всячески превозносят македонское объединение. Влияние этой тенденции сказалось и на сравнительно новых книгах Берве, Раде, Корнеманна<sup>4</sup> и др. Позиция Белоха, писавшего, что «Александр пожал там, где посеял его отец», оригинальна и критична только в оценке личности Александра, но это не относится к оценке его деятельности.

Особенно возрос интерес к македонским завоеваниям и к личности Александра после второй мировой войны. За этот сравнительно небольшой промежуток времени об Александре было написано больше книг, чем за все предшествующие годы. Далеко не все они оставили заметный след в историографии, но некоторые представляют несомненный интерес (о книгах Э. Бедизна, Г. Бенгтсона, П. Бриана, Л. Омо, Ч. Робинсона, М. Уилера уже писали в нашей специальной литературе).

На первом месте среди этих монографий, с нашей точки зрения, стоит прекрасная книга В. Тарна «Александр Великий»<sup>5</sup> – результат переработки написанных этим автором соответствующих глав «Кембриджской древней истории». В книге Тарна сочетаются увлеченность историка, сумевшего по-новому прочесть одну из интереснейших страниц истории, и блестящее изложение известных всем событий с основательностью и глубиной в разработке частных вопросов. Чтобы не отвлекать внимания читателя на источники и полемику по отдельным проблемам, Тарн разбил свою работу на два тома, отделив рассчитанное на массового читателя «Повествование» от предназначенных для специалистов «Источников и исследований». Этот второй том, состоящий из отдельных очерков, несомненно, значительное явление в историографии. Если можно согласиться не со всеми результатами исследования Тарна, то нельзя обойти молчанием проделанную им работу.



Вступительный очерк второго тома – разбор первоисточников, рассказывающих о походе, – посвящен пересмотру взгляда на происхождение и сравнительную ценность сочинений современников македонских завоеваний. Еще в конце прошлого века немецкими историками была разработана концепция о существовании двух восходящих к современникам Александра традиций: одной – надежной, основанной на воспоминаниях участников похода, Птолемея и Аристобула, которую использовал в дальнейшем Арриан в своем «Походе Александра», и так называемой «вульгаты» – распространенной, но малодостоверной версии. К «вульгате» восходят наиболее известные истории похода Александра, составленные в римское время: XVII книга «Исторической библиотеки» Диодора Сицилийского, «История Александра Македонского» Курция Руфа и сделанная Юстином «Эпитома» («Извлечение») из «Всеобщей истории» Помпея Трога, а также в значительной степени биография Александра, написанная Плутархом. Сколь значительное влияние на представления последующих поколений оказала эта «вульгата», видно из того, что именно на ней основан сложившийся еще в эпоху эллинизма и получивший затем распространение по всему тогдашнему миру «Роман об Александре», версии которого дошли не только на греческом, но и на латинском, арабском, армянском, сербском и многих других языках. Популярность «Романа об Александре» в средние века можно сравнить только с популярностью Библии<sup>6</sup>.

Историки XIX–XX вв. считали, что основным источником «вульгаты» были «Деяния Александра», написанные Каллисфеном, а после смерти этого историка (327 г. до н. э.) основной материал «вульгата» заимствовала у Клитарха, которого считали участником похода. Полагают, что его сочинение предшествовало воспоминаниям Птолемея и книге Аристобула.

На ряде примеров В. Тарн сумел показать, что труды Клитарха не могли быть основным источником «вульгаты», так же как он сам не был, по-видимому, участником похода Александра. Историки позднейшего времени использовали, возможно, из его увлекательно написанной, но, вероятно, более поздней по сравнению с Птолемеем и Аристобулом книги от-

дельные детали. Хотя гипотеза Тарна о происхождении «вульгаты» не была принята другими учеными, он все-таки заставил их пересмотреть общепринятый в то время взгляд на работу Клитарха. Исследования Тарном источников XVII книги Диодора показали, что Диодор брал свой материал не только у Клитарха и что роль Клитарха в создании «вульгаты» была вовсе не такой значительной.

Тем не менее некоторые выводы, к которым приходит Тарн, настолько парадоксальны, что с ними невозможно согласиться. Например, Тарн считает Александра провозвестником братства и единства народов. Именно македонский царь, а не киники, утверждает Тарн, первым провозгласил идеи интернационализма и равенства народов<sup>7</sup>. Общая идея, по его мнению, способна сплотить народы сильнее, чем любая формальная связь. Красной нитью через всю книгу Тарна проходит апологетическая тенденция, его стремление найти оправдание жестокой захватнической политике, проводимой македонянами. Только трем поступкам Александра Тарн не находит оправдания: разрушению Фив, казням Филоты и Пармениона и вероломному убийству сдавшихся на милость победителя индийских наемников при Массаге. Но даже и эти поступки Тарн называет лишь «грехами юного властелина» и считает, что о них могут судить только те, кому знакомо искушение властью.

Книга Тарна, несмотря на свойственное ей стремление к прославлению Александра, богата фактическим материалом, и если мы предлагаем нашему читателю не ее, а другую книгу об Александре, то это объясняется не только тем, что книга Фрица Шахермайра вышла на четверть века позже и включает новый материал, накопленный наукой за эти 25 лет<sup>8</sup>, но и большими ее достоинствами и глубокой эрудицией автора.

Шахермайр – единственный из известных нам ученых-античников, посвятивший Александру и его походам не только множество статей и исследований, но и три капитальные монографии. Первая из этих книг об Александре, которую автор снабдил подзаголовком «Гений и власть»<sup>9</sup>, была результатом долголетней работы Шахермайра над изучаемой проблемой и, что еще важнее, результатом духовного перелома ученого, происшедшего под влиянием крупных событий в

жизни страны и в его личной. В предисловии к этой книге автор пишет, что события военных лет целительным образом повлияли на формирование его общих взглядов... и что без них его книга не могла бы возникнуть в ее современном виде.

Фриц Шахермайр – старейший, если не самый старый австрийский антиковед, участник еще первой мировой войны<sup>10</sup>. Проходя службу на Переднем Востоке и в Малой Азии, он увлекся историей Греции и античной культурой. Это увлечение захватило его на всю жизнь, и уже на пороге своего 90-летия он продолжал печатать исследования по истории ранней Греции и активно участвовать в конференциях историков.

Ф. Шахермайр начал свою научную карьеру с опубликования в 1929 г. солидного исследования по ранней истории этрусков. Уже в этой первой работе проявилась особенность таланта Шахермайра – умение на основе детальных исследований нарисовать общую картину эпохи. За долгую научную жизнь Шахермайру удалось сказать свое слово о различных и, казалось бы, далеких друг от друга областях и периодах истории древнего мира, но важнейшие его работы посвящены двум темам: ранней, как ее раньше называли «доисторической», эпохе жизни Балканского полуострова и времени Александра Македонского.

К сожалению, время, на которое пришелся расцвет научного творчества Шахермайра, оказалось тяжелым периодом в истории немецкой науки<sup>11</sup>. Приход к власти фашизма в 1933 г., засилье расизма и национализма в исторической науке не могли не привести к упадку и антиковедения. Поиски «нордических элементов» в греческой и римской культурах, прославление тоталитарного строя древней Спарты<sup>12</sup>, порицание демократического строя Афин и культ «сильной личности» – все эти установки оказали немалое влияние на молодого ученого, приглашенного профессором в Йену незадолго до прихода Гитлера к власти. Уже в работе 1935 г. «Ахейцы и хетты», посвященной ранней истории народов Греции и Малой Азии, мы встречаемся не только с расистской терминологией, но и с характерным для фашистской науки утверждением о якобы исконном превосходстве индоевропейских или, как их называли немцы, индогерманских наро-

дов. Влияние фашистских установок сказалось и в объемистой статье 1937 г. об афинском тиране Писистрате, помещенной в «Реальной энциклопедии классической древности» Паули-Виссова (т. XIX).

Отмечая положительные моменты деятельности и стремление к тоталитаризму этой «сильной личности», Шахермайр не забыл упомянуть, что «по своей крови Писистрат, несомненно, в значительной степени имел северные показатели». В том же стиле сочетания результатов детальных исторических исследований с национал-социалистскими «установками» написана и его третья крупная работа – «Индогерманцы и Восток» (1944). И только в четвертой книге Шахермайра («Александр Великий. Гений и власть»), написанной в 1949 г., уже по возвращении в родную Австрию, наметился тот духовный перелом, о котором мы говорили и который сам автор назвал «целительным».

Эта книга может служить характерным примером пересмотра взглядов серьезным ученым, занимавшим в свое время ведущее положение в исторической науке «гитлеровского рейха».

Следует сказать несколько слов о характере и причинах духовного перелома, происшедшего с Шахермайром. После разгрома гитлеризма он уже был совершенно не склонен восхвалять «необузданных властителей, приписывающих себе сверхъестественную силу и ставящих себя над материальным миром, попирая при этом права и достоинство личности». Слишком дорого обошлась Германии вера в силы таких «всемогущих магов». К их числу автор относит прежде всего героя своей книги Александра Македонского, называя затем и других деятелей мировой истории – Валленштейна, Карла XII, Наполеона, не говоря уже о «современных экспериментах». «Нет никаких сомнений, – утверждает автор, – что такого рода деятели, «стоящие выше добра и зла», когда в их руках оказывается власть, становятся опасными. Средства, при помощи которых они пытаются навязать людям свою волю, безрассудны. Единовременный брак сподвижников и воинов Александра – знаменитая свадьба в Сузах – не могла привести к слиянию Востока и Запада, а скорее напоминала действия хозяина конного завода».

Сама жизнь заставила Шахермайра отказаться от веры в то, что он называл «изначальной внутренней силой гениев», убедила его, что личность не может ставить себя над материальным миром, и тем самым приблизила к положениям исторического материализма. Свои новые убеждения он выразил словами: «Александр – мрачный герой! Его цели шли вразрез с историческим развитием. Его деятельности не дано было осчастливить людей». Немало должен был пережить и продумать Шахермайр, чтобы прийти к таким выводам.

В предисловии к своей первой книге об Александре Шахермайр сетует на те условия, в которых в результате безответственной политики предшествующих правителей оказалась Австрия. Издательство в университетском городе Граце, где когда-то учился юный Шахермайр, не могло предоставить ему возможность издать плод его многолетнего труда в достойном виде. Автор вынужден был отказаться более чем от 1200 примечаний, которые вместе с приложениями должны были составить второй том монографии. Условия научной жизни в еще не оправившейся после военной разрухи Австрии не позволили ему издать книгу в двух томах.

Вторая книга Шахермайра об Александре вышла в 1970 г. в Вене. Эта сравнительно небольшая монография «Александр в Вавилоне и организация государства после его смерти»<sup>13</sup> посвящена последнему периоду жизни великого полководца и, что самое главное, результатам его деятельности.

Одновременно Шахермайр продолжал свои штудии по ранней истории Греции. В послевоенные годы вышли его книги: «Посейдон и возникновение греческой религии» (1950), «Древнейшие культуры Греции» (статья в «Реальной энциклопедии классической древности» Паули-Виссова, вышедшая затем в 1955 г. отдельной книгой), «Минойская культура древнего Крита» (1964), «Ранняя греческая классика» (1966), «Эгеида и Восток» (1967). В этих работах автор отказывается от своих прежних высказываний о ведущей роли «нордического элемента» в создании греческой культуры и уделяет много места взаимодействию культур Греции и Малой Азии.

Итогом многолетних исследований Шахермайра, посвященных Александру, стала его значительная как по содержа-

нию, так и по объему монография, вышедшая в 1973 г. также в издательстве Австрийской Академии наук<sup>14</sup>. Как явствует уже из заглавия, этот том нельзя рассматривать как переиздание предыдущей книги 1949 г. «Александр. Гений и власть». Новый подзаголовок «Проблема личности и деятельности Александра» переносит акцент с вопроса об одаренности Александра на проблему результатов его кипучей деятельности.

В новой книге получили отражение исследования автора за последние 25 лет, а также результаты работ других ученых за этот период. Вопрос об оценке личности Александра, на который Шахермайр так решительно ответил в своей первой книге, теперь он ставит несколько шире, пытаясь определить, какое влияние на судьбы человечества оказал этот «мрачный гений». В первой книге Шахермайр, признавая, что влияние Александра не было благотворным, все же полагал, что дальнейшие события развивались по намеченному македонским царем плану. Хотя в его отношении к македонскому завоевателю сквозило чувство неприязни, которое он испытывал к другому «гению власти», своему современнику, он все же признавал, что Александр сильно повлиял на ход будущих событий. В новой книге острота критики личности Александра несколько смягчена, но зато вопрос о влиянии его деятельности на историю Средиземноморья решен иначе.

Автор, посвятивший своему герою столько времени и сил, естественно, стремится к тому, чтобы читатель нашел в образе правителя незначительного Македонского царства черты, сделавшие его впоследствии повелителем мира, полубогом, легенды о котором будут жить века и даже тысячелетия. Показывая привлекательные черты Александра, Шахермайр в то же время не закрывает глаза на его безрассудство и жестокость. В заключительной главе новой книги, рассказывая о смерти полководца, Шахермайр пишет, что со смертью Александра ушел укротитель, усмиривший всех непокорных и заставивший их подчиниться своей воле.

Подводя итоги политической деятельности Александра, Шахермайр объявляет ее безрезультатной: «Александр поклонялся фетишу, который сам избрал, – идее мировой империи, создание которой в то время еще не было историче-

ски обусловлено, а потому было и нереально». Теперь никто больше не желал служить поверженному фетишу.

Правители, пришедшие на смену Александру, вернулись, по мнению Шахермайра, к политическим концепциям его отца Филиппа – к политике слияния греков и македонян, противопоставления их варварам и династическому принципу передачи власти. Укрепившиеся у власти династии диадохов понимали, что для них важно сохранить поддержку верхушки общества, и не навязывали знати своих «благдеяний».

Шахермайр считал Александра не только полководцем и политическим деятелем, но и талантливым учеником Аристотеля в области политики, опередившим не только своего учителя, но и всех современников по крайней мере на полстолетия, а то и на целый век. В отличие от Тарна, видевшего в Александре оригинального мыслителя, Шахермайр признает, что интернационалистические взгляды царя были подготовлены киниками. По его мнению, выдвинутые Александром идеи были впоследствии подхвачены стоиками, но «не оказали все же никакого влияния на духовное развитие своего времени». К такому пессимистическому, но, бесспорно, справедливому выводу автор приходит в итоговой главе «Наследники Александра».

\* \* \*

Шахермайр поставил перед собой нелегкую задачу найти для своей новой книги об Александре оригинальную форму. Во введении (он назвал его «По обе стороны исторической науки», намекая на то, что строгие критики сочтут, что его манера художественного описания исторических событий лежит «по другую сторону исторической науки») автор пишет, что при написании этой главной книги его задачей было найти такой стиль изложения, который подходил бы к образу главного героя, «великого разрушителя полисного уклада жизни и блестящего мыслителя, превзошедшего даже своего учителя – Аристотеля».

Сейчас, считает Шахермайр, когда методика научного исследования усложнилась, не только специальные статьи, но и обобщающие работы пишутся таким сухим и скучным язы-

ком, что изложенные в них события могут «разве что заинтересовать, но уж никак не увлечь читателя». Специализация достигла такой степени, что серьезные ученые считают для себя зазорным писать для массового читателя, и авторами популярных работ становятся люди, далекие от науки. Дать достоверную картину исторической эпохи, сохранив при этом увлекательность и художественность изложения, – вот та «сверхзадача», которую поставил перед собой Шахермайр в своей новой книге.

Невозможно отрицать, что книга Шахермайра читается легко и с удовольствием. Все интересно – будь то психологическая характеристика целых народов (греков, македонян, персов), портреты родителей, юных друзей, полководцев и советников молодого царя, входивших в его придворный лагерь, или же топография мест, по которым проходили македоняне и которые престарелый ученый объездил сам, чтобы своими глазами увидеть то, о чем хотел рассказать. Как отличается она от сочинений авторов, вынужденных пересказывать чужие описания и наблюдения!

Автор настолько вжился в описываемую эпоху, что не без успеха вкладывает собственные мысли в уста Александра. Изучив высказывания и письма Александра (большинство которых он считает подлинными), Шахермайр настолько проникся психологией своего героя, что рискует реконструировать мысли и слова царя даже в тех случаях, когда античные авторы ничего о них не сообщают. Поэтому так живо встает перед глазами читателя сцена на пиру, когда был убит Клит, или другая сцена, когда Каллисфен отказался совершить земной поклон (проскинезу).

Живо описана ссора с Филиппом, когда Александр бросает отцу дерзкие слова, и картина штурма индийского города маллийцев, когда Александр чуть не заплатил жизнью за свою храбрость. Хотя в биографии Александра, написанной Плутархом, мы находим близкие к нашей книге описания, Шахермайр сумел дополнить их такой тонкой психологической мотивацией, что забыть эти эпизоды просто невозможно. Вспомним, к примеру, сцену прощания Александра с Непархом перед разделением войска на обратном пути из Индии, когда Александр предстал перед нами в таком неожи-



данном свете: «это не беззаботный гордец, не жестокий работодатель, а любящий и внимательный друг». Автор нашел новые краски для портрета своего героя, то величественно-го, то отталкивающего, то храброго до безумия, то подозрительного и боящегося собственной тени.

«Люди грубые и жестокие иногда бывают склонны к нежной и верной дружбе, хотя в их отношениях с друзьями и отсутствует сентиментальность», – пишет Шахермайр, и читатель останавливается на этой мысли и не может не признать ее справедливость. Или вот еще один пример. Характеризуя персидскую династию Ахеменидов, Шахермайр не обольщается, объясняя причины «альтруизма» первых персидских царей. «Они знали, – пишет он, – что «мягкие» режимы оказываются более длительными и выгодными для правителей, чем те, которые основаны на применении силы». Но, продолжает автор, мягкие законы были лишь красивым фасадом и далеко не всегда выполнялись поставленными царем сатрапами. «Власть над народами несет с собой разложение, чванство и самомнение, жестокость и ограниченность». Таких мест в этой объемистой, но удивительно легко читающейся книге так много, что из нее вполне можно извлечь материал на целый сборник исторических афоризмов.

Другим важным достоинством этой книги является ее проблемность. Кроме основной проблемы – общечеловеческого значения судьбы Александра и результатов его деятельности – каждая глава и даже параграф ставит перед читателем вопросы, над которыми раньше многим из нас не приходилось задумываться. Можно ли научиться искусству полководца? Как случилось, что македоняне, стоявшие на значительно более низкой ступени общественного развития, чем греки, оказались способными воспринять греческую культуру? Почему, восприняв ее и почти слившись с греками, они еще долго сохраняли все свои традиции? На многие вопросы мы получаем новые ответы взамен привычных. Как относился Александр к своему обожествлению? Вопреки Тарну Шахермайр считает (и психологически это вполне убедительно), что на гребне успехов Александр действительно уверовал в свое божественное происхождение. Не совсем убедительна его полемика с Тарном, отрицавшим, что Александр с самого на-

чала готовился к покорению ойкумены. Тот факт, что канцелярия царя не осталась в Македонии, еще не доказывает, как нам кажется, намерения царя перенести столицу на Восток.

Интересна попытка Шахермайра связать введение проскинезы с отношением Александра к персидской религии и к культуре огня. Внимательного рассмотрения заслуживают рассуждения Шахермайра о географических представлениях древних и о взглядах Александра на симметричность вселенной, от которых он должен был отказаться в результате своего похода. Да и мало ли еще интересных решений может предложить читателю крупный ученый, почти 50 лет своей жизни посвятивший исследованию личности Александра и его деятельности?

В основу всех реконструкций Шахермайра положены его отношения к первоисточникам, описавшим Восточный поход Александра. Учитывая динамичный характер своей книги, Шахермайр не дал обзора первоисточников, как это обычно делается, в начале книги, а привел его лишь в конце IV главы, когда о многих их авторах мы уже получили некоторое представление<sup>15</sup>. Официального историографа похода, ученика и родственника Аристотеля – Каллисфена – Шахермайр решительно не одобряет. Он считает, что это был ограниченный, тщеславный человек, увлеченный своими политическими идеями (панэллинизм, исконное превосходство греков над варварами и т. п.), неспособный понять величие замыслов Александра. В его «Истории» много искажений: не следует, в частности, доверять приводимым им сведениям о численности варварских войск, о чудесах и божественных знамениях. Безудержный льстец, он способствовал созданию легенды о божественном происхождении царя, а затем сам пал жертвой своего высокомерия и претензий.

Шахермайр положительно относится к не дошедшей до нас книге Онесикрита «Об Александре». Кормчий царского корабля, ученик Диогена – Онесикрит – создал образ «философа с оружием в руках», образ, настолько близкий самому Шахермайру, что тот излагает его концепцию в заключительной главе своей книги. Если Тарн прямо называет Онесикрита лжецом, то Шахермайр значительно смягчает эту характеристику, полагая, что Онесикрит не гнался за истиной, а ис-

пользовал поход Александра для написания «утопического романа», в котором развивал идеи киников.

Снисходительно также относится Шахермайр к главному «врагу» Тарна – Клитарху. Немецкий исследователь причисляет его, как и двух предшествующих историков, к «романтической школе». Если Каллисфен был увлечен политическими идеями, Онесикрит – философскими, то Клитарх ставил перед собой прежде всего литературные задачи. Вслед за Тарном Шахермайр отходит от точки зрения Дройзена и других немецких ученых и признает, что Клитарх не принимал участия в Восточном походе и что он не стремился отыскивать для своего труда достоверные сведения. Его информацию никак нельзя признать заслуживающей доверия: он просто расспрашивал знакомых ему участников похода, а где ему не хватало сведений, добавлял от себя. Его цель была чисто литературной – дать яркое описание полного чудес похода в Азию. Для этой цели избранная им свободная форма – смесь правды и выдумки – вполне подходила. Яркостью повествования объясняется и популярность Клитарха у римских историков времени империи, которые ставили его сочинения, дошедшие до нас лишь в отрывках, выше всех остальных (Страбон XI, 5, 4).

В отличие от своих предшественников Шахермайр усомнился в достоверности сведений, сообщаемых Птолемеем и следующим за ним Аррианом. Эти сведения вполне точны, когда речь идет об организации армии, маршрутах, приказах царя или географии завоеванных стран. Там же, где вопрос касается внутренней борьбы в македонском лагере, они напоминают записки Цезаря «О галльской войне». Хотя Птолемей часто цитирует официальные документы, относиться к его сведениям нужно весьма осторожно. Опасаться следует не искажений, вкравшихся в традицию, а того извращения истины, которое было присуще диктаторскому режиму. Автор умело умалчивает обо всем, о чем ему не хотелось бы сообщать. Из его повествования невозможно извлечь подоплеку событий: дается только официальная версия, а дальше мы «упираемся в глухую стену». Чтобы докопаться до истины, Шахермайр предлагает осторожно использовать сплетни, собранные у военачальников и придворных чиновников

Клитархом и, что еще важнее, Харесом, составителем дошедшей до нас в отрывках «Истории об Александре».

В отличие от Тарна Шахермайр считает Хареса, занимавшего с 330 г. до н. э. должность эйсангелея (церемониймейстера), основным источником. Харес хорошо знал обстоятельства жизни Александра и сам был участником многих событий. Хотя Шахермайр не считал его «фанатичным приверженцем точности», его сообщения об убийстве Клита, проскинезе, казни Каллисфена и свадьбе в Сузах легли в основу данной книги.

Не согласен также Шахермайр с оценкой Тарном труда участника Восточного похода – архитектора Аристобула. В отличие от немецких историков Тарн придавал труду Аристобула первостепенное значение и считал, что он послужил источником для XVII книги «Исторической библиотеки» Диодора. Аристобул и личный друг Александра, Неарх, дали, по его мнению, материал как для легковесного сочинения Клитарха, так и для добросовестного, хотя и позднего рассказа Арриана.

Шахермайр считает, что Аристобул располагал лишь заурядным материалом, полученным им из вторых рук; самое же главное заключается в том, что, как и у Птолемея, его целью было прежде всего защитить царя от критики. Этим и объясняется явная идеализация образа Александра.

На этом примере хорошо видно, что восприятие Шахермайром личности Александра неразрывно связано с переоценкой им материала первоисточников. Усомнившись в достоверности официальной версии, предлагаемой Птолемеем и Аристобулом и сохраненной Аррианом, обратившись к отвергаемым раньше Харесу и даже Клитарху, Шахермайр сумел создать новое представление об Александре – не хрестоматийно величавую фигуру грозного властителя, а привлекательный и одновременно отталкивающий образ честолюбца, дерзкого и талантливого, жестокого и фанатичного.

Достоинства новой книги Шахермайра не должны заслонять от нас те идейные расхождения, которые обнаруживаются между ее автором и другими историками. Это относится прежде всего к характеристикам, которые Шахермайр дает народам Средиземноморья. Хотя и в рудиментарной фор-

ме, характеристики эти сохраняют остатки прежних расистских воззрений автора. Наряду с явной идеализацией индоевропейских народов – македонян, греков и иранцев – мы встречаемся с обобщающими, резко отрицательными оценками западных семитов или жителей нижнего течения реки Инд, которые «не стремились к славе и были склонны к предательству». В Индии им противопоставляются жившие на севере «индоевропейские пришельцы – представители касты воинов, организованных в рыцарские союзы». Шахермайр сам упрекал Аристотеля за то, что, обучая Александра, он давал характеристики целым народам, тогда «как надо было различать и характеризовать отдельных индивидуумов», теперь же повторяет его ошибку.

Огорчает отношение Шахермайра к афинской демократии. В войне Филиппа II с греками его симпатии явно на стороне македонского царя: «Греки израсходовали свои силы в бесплодной борьбе между демократией и олигархией». Шахермайр прямо называет борьбу за демократию бесплодной и не имеющей смысла. Ему кажется, что учрежденный Филиппом II Коринфский союз был умереннее и великодушнее Афинского морского союза. Отрицая афинскую демократию, Шахермайр забывает о неразрывной связи афинского государственного устройства с развитием греческой культуры, сохраняющей общечеловеческое значение.

С недооценкой демократии связаны встречающиеся в книге прославление монархического принципа правления и идеализация отдельных монархов (Филиппа II, Кира, Октавиана Августа). Признав, что даже Александр не смог ускорить естественный ход истории, Шахермайр в других случаях сильно преувеличивает возможности отдельных личностей влиять на ход исторического развития. «Всем последующим за Киром персидским царям недоставало той силы, которой обладал основатель династии. Поэтому не удалось нападения на Скифию и походы на Балканский полуостров и в Грецию». Недооценка социально-экономических факторов приводит Шахермайра и к другим ошибочным суждениям. Так, победы греков и македонян в сражениях с персами он объясняет превосходством не общественного строя, а исключительно физической подготовки.

С принятыми в немецкой науке установками связана не отражающая современного уровня науки картина патриархальной жизни восточного «индоевропейского» Ирана. Автор явно идеализирует династию Ахеменидов, которая якобы «умела соединить интересы своего народа с альтруистическими тенденциями, насаждаемыми персидской религией». В Иране, считает Шахермайр, существование династии нравственно оправдано творимым ею добром. Полемизировать с подобной, явно идеалистической точкой зрения, едва ли имеет смысл.

Шахермайр, как и почти всем западным ученым, свойственно стремление к модернизации. Не говоря уже об использовании терминов, относящихся к другим историческим эпохам, в самом описании жизни древней Македонии или Восточного Ирана назойливо и часто вопреки известным фактам навязываются представления о существовании там феодального строя. Достаточно ограничиться одним примером. Шахермайр утверждает, что иранская знать связывала свои права с феодальными свободами, что именно феодальными вольностями персидской знати объясняется политика Дария III в войне с Александром. Современные исследователи в противовес этим утверждениям показывают на материале источников, что земля в Иране не была феодальным наделом, что ее свободно продавали, закладывали и даже сдавали в аренду<sup>15</sup>. Наряду с этим существовали и пережитки общинного строя, причем правители кормили многотысячную дружину. Все это свидетельствует о том, что общественный строй в Иране был значительно сложнее, чем это представляет себе Шахермайр.

Однако разделы, посвященные ранней Македонии и Ирану, занимают второстепенное место в книге Шахермайра, а некоторая непоследовательность и терминологические неточности не снижают значения этого безусловно выдающегося и талантливой труда.

При издании книги Шахермайра на русском языке издательство сочло себя вправе сократить последние главы, не связанные с основным содержанием – походом и жизнью Александра, а также приложения и примечания.

Книга Шахермайра, посвященная жизни македонского царя Александра, стоявшего у истоков эллинизма, несомненно,

вызовет интерес читателей. Биографический жанр в историографии вполне закономерно получает все большее развитие, и не случайно к нему обращаются крупнейшие историки. Жизнь выдающегося человека вне зависимости от того, как мы оцениваем результаты его деятельности, заставляет задуматься и позволяет проникнуть в тайны времени, его породившего.

### *Библиография*

Список составлен на основе литературного обзора, приложенного к книге Ф. Шахермайра. Кроме того в него включены монографии и отдельные наиболее важные статьи в журналах и сборниках на русском языке.

Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма, М., 1982.

Борухович В. Г., Колотова М. Г. Панэллинизм и буржуазная историография античности. – «Вестник древней истории» (далее ВДИ), 1951, № 1.

Борухович В. Г., Фролов Э. Д. Публицистическая деятельность Исократа. – ВДИ, 1969, № 2.

Гафуров Б. Г., Цибукидис Д. И. Александр Македонский и Восток. М., 1980.

Григорьев В. В. Поход Александра Македонского в Западный Туркестан. – «Журнал Министерства народного просвещения», ч. 217, отд. II, сент.–окт. 1881.

Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экономика Древнего Ирана. М., 1980.

Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. Т. I. Античный мир, 1936.

Доватур А. И. Политика и политии Аристотеля. М.–Л., 1965.

Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. I. История Александра Великого, 1890.

Дьяконов И. М. История Мидии от древнейших времен до конца IV в. до н. э. М.–Л., 1956.

Зельин К. К. Основные черты исторической концепции Помпея Трога. – ВДИ, 1948, № 4.

Зельин К. К. К вопросу о социальной основе борьбы в македонской армии в 330–328 гг. до н. э. – Проблемы социально-экономической истории древнего мира. М.–Л., 1963.

- Историография античной истории. Под ред. проф. В. И. Кузищина. М., 1980.
- Источниковедение Древней Греции (эпоха эллинизма). М., 1982.
- Ковалев С. И. Александр Македонский. Л., 1937.
- Ковалев С. И. Монархия Александра Македонского. – ВДИ, 1949, № 4.
- Кондратюк М. А. Коринфская лига и ее роль в политической истории Греции 30–20 гг. IV в. до н. э. – ВДИ, 1977, № 2.
- Кондратюк М. А. Проблема обожествления Александра Македонского в современной историографии. – Проблемы всеобщей истории. Под ред. Г. Д. Язькова и И. Л. Маяк. М., 1977.
- Кошеленко Г. А. Аристотель и Александр (к вопросу о подлинности «Письма Аристотеля к Александру о политике по отношению к городам»). – ВДИ, 1974, № 1.
- Костюхин Е. А. Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции. М., 1972.
- Ловягин А. М. Александр Македонский в Туркестане. – Исторические и библиографические очерки, вып. 1. Пг., 1917.
- Маринович Л. П. Александр Македонский и полисы Малой Азии. – ВДИ, 1980, № 2.
- Ранович А. Б. Эллинизм и его историческая роль. М.–Л., 1950.
- Струве В. В. У истоков романа об Александре. – «Советское востоковедение», т. I, 1927.
- Тарн В. В. Эллинистическая цивилизация. М., 1949.
- Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М., 1948.
- Тревер К. В. Александр Македонский в Согде. – «Вопросы истории» (далее ВИ), 1947, № 5.
- Уиллер В. Александр Великий. СПб., 1900.
- Уиллер М. Пламя над Персеполем. М., 1972 (см. также рец. Г. А. Кошеленко в ВДИ, 1972, № 3).
- Фролов Э. Д. Русская историография античности (до середины XIX в.). Л., 1967.
- Фролов Э. Д. Коринфский конгресс 338/337 г. до н. э. и объединение Эллады. – ВДИ, 1974, № 1.



Хлопин И. Н. Александр Македонский в Маргиане. – Античность и современность, М., 1972.

Хлопин И. Н. Маршрут азиатского похода Александра Великого. *Iganica Antiqua*, t. XVII. Gent, 1982.

Цибукидис Д. И. Древняя Греция и Восток. Эллинистическая проблематика греческой историографии (1850–1974). М., 1981.

Шофман А. С. История античной Македонии. Ч. I и II. Казань, 1960, 1963.

Шофман А. С. Каллисфен. – ВИ, 1974, № 6.

Шофман А. С. Восточная политика Александра Македонского. Казань, 1976.

Badian E. Alexander the Great 1948–67. – In the Classical World. Bibliography of Greek and Roman History. New York–London, 1978.

Bamm P. Alexander der Große. Ein königliches Leben. Zürich, 1968.

Beloch K. J. Griechische Geschichte. Bd. III–IV. Leipzig, 1925.

Bengtson H. Griechische Geschichte. München, 1969.

Bengtson H. Alexander und die Eroberung des Perserreiches. Fischer Weltgeschichte. Bd. 5. München, 1965.

Berve H. Das Alexanderreich auf prosopographischen Grundlage. Bd. I–II. München, 1926.

Berve H. Griechische Geschichte. Bd. II. Basel–Wien, 1952.

Birt Th. Alexander der Große und das Weltgriechentum. Leipzig, 1928.

Briant P. Alexandre le Grand. Paris, 1974 (см. также рец. Л. П. Маринович в ВДИ, 1977, № 1).

Danov Ch. Altthrakien. Sofia, 1969.

Dascalakis A. Alexander the Great and Hellenism. Athens, 1966.

Fox R. L. Alexander the Great. London, 1973.

Green P. Alexander the Great. London, 1970.

Hamilton J. R. Alexander the Great. London, 1973 (см. также рец. Л. П. Маринович в ВДИ, 1979, № 2).

Homo L. Alexandre le Grand. Paris, 1951 (см. также рец. М. Н. Ботвинника и Б. П. Селецкого в ВДИ, 1954, № 3).

Kornemann E. Die Alexandergeschichte des Königs Ptolemaios von Ägypten. Leipzig, 1935.

Kornemann E. Große Frauen im Altertum. Wiesbaden, 1942.

Lauffer S. Alexander der Große. München, 1978.

Meyer Ed. Alexander der Große und die absolute Monarchie. Halle, 1910.

Radet G. Alexandre le Grand. Paris, 1931.

Robinson Ch. A., Jr. History of Alexander the Great. Vol. I–II. Providence, 1953, 1963.

Robinson Ch. A., Jr. Alexander the Great. The Meeting of East and West in World Government and Brotherhood. New York, 1947 (см. также рец. М. Н. Ботвинника в ВДИ, 1952, № 1).

Schachermeyr F. Alexander der Große. Ingenium und Macht. Graz, 1949 (см. также рец. М. Н. Ботвинника и Б. П. Селецкого в ВДИ, 1954, № 3).

Schachermeyr F. Alexander in Babylon und die Reichsordnung nach seinem Tode. Wien. 1970.

Tarn W. W. Alexander the Great. Vol. I–II. Cambridge, 1948 (см. также рец. М. Н. Ботвинника в ВДИ, 1952, № 1).

Wheeler B. I. Alexander the Great. New York, 1900.

Wheeler M. Flames over Persepolis. New York, 1968 (см. также рец. Г. А. Кошеленко в ВДИ, 1972, № 3).

## Примечания

<sup>1</sup> Арриан. Поход Александра. М.–Л., 1962, с. 47.

<sup>2</sup> Пельман Р. Очерк греческой истории и источниковедения. СПб., 1910, с. 305.

<sup>3</sup> Meyer Ed. Kleine Schriften. I. Halle, 1910, S. 283–332.

<sup>4</sup> См. Библиографию к этой статье.

<sup>5</sup> Tarn W. Alexander the Great. Cambridge, 1948, v. I–II.

<sup>6</sup> См.: Грабарь-Пассек М. Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе. М., 1966, с. 172–183; Александрья. Минск, 1962; Александрья. Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV века. М.–Л., 1965; Истрин В. М. История сербской Александрии в русской литературе. Вып. 1. Одесса, 1909.

<sup>7</sup> Этот столь важный для Тарна тезис был позднее подвергнут убедительной критике его соотечественниками Бедизном, Берном и др. (см. Библиографию).

<sup>8</sup> Для некоторых книг год издания не имеет столь большого значения. Например, посвященный Александру I том «Истории эллинизма» Дройзена, вышедший в конце прошлого века, многократно переиздавался (в 1917, 1933, 1942, 1952 гг.) и сегодня еще не утратил своего значения.

<sup>9</sup> Schachermeyr F. Alexander der Große. Ingenium und Macht. Graz, 1949.

<sup>10</sup> См.: Dörmer F. K. F. Schachermeyr. Zum 70 Geburtstag. – Forschungen und Fortschritte. Т. XXIX, вып. 1, 1965.

<sup>11</sup> См.: Историография античной истории. Под ред. В. И. Кузищина, М., 1980, гл. 7, § 4. Немецкая историография античности. Гл. 8, §§ 5–6.

<sup>12</sup> См.: Лурье С. Я. О фашистской идеализации полицейского режима древней Спарты. – ВДИ, 1939, № 1.

<sup>13</sup> Schachermeyr F. Alexander in Babylon und die Reichsordnung nach seinem Tode. Wien, 1970.

<sup>14</sup> Schachermeyr F. Alexander der Große. Das Problem seiner Persönlichkeit und seines Wirkens. Wien, 1973.

<sup>15</sup> Обстоятельный очерк источниковедения эпохи Александра написан Л. П. Маринович и содержится в книге «Источниковедение Древней Греции» (М., 1982). Там же дана критика новейших работ, относящихся к источникам эпохи Александра.

<sup>16</sup> Ранняя история Ирана освещена в книге: Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980, с. 104–228.

## СПАРТА И АФИНЫ.

### Слабость силы и сила слабости

Спарта и Афины... Города-соседи, города-современники. Но почему греческая культура – философия, скульптура, драматургия, – достигшая расцвета в Афинах, почти совершенно обошла Спарту? Почему ни одного сколько-нибудь значительного и самобытного философа не дала миру Спарта – это могущественное и влиятельное античное государство, населенное таким же талантливым народом, окруженное теми же цивилизациями и так же, если не больше, испытывавшее влияние высокой микенской культуры?

Разгадка этого своеобразного феномена — в принципиальной разнице общественного устройства Афин и Спарты, что отчетливо проявилось не только в организации государства, труда и военного дела, но и в организации досуга жителей обоих этих государств.

#### *Приправа к «черной похлебке»*

Сразу же оговоримся: у древних спартанцев досуга почти не было. А чтобы понять, почему его не было, присмотримся к тому, что представлял собой «спартанский образ жизни».

Не правда ли, достаточно взять это выражение в кавычки, как у каждого из нас возникнут устоявшиеся со школьных лет представления: аскетизм, готовность к суровым испытаниям, беспощадная физическая закалка. Спартанский образ жизни – это образ жизни воина, даже в мирное время пребывающего в постоянной боевой готовности.

То, что все стороны жизни Спарты были подчинены войне и подготовке воинов, можно объяснить ее историей: коренное население страны было порабощено спартанцами, и количество покоренных намного превысило число господ-

покорителей. Для сохранения своего господства спартамцам вряд ли оставалось что-либо иное, как подчинить жизнь мужчин и женщин, воспитание детей и юношества единой цели – постоянному устрашению илотов (так называлось коренное население). Спартанец должен был стать настолько сильнее любого илота, чтобы казаться ему неуязвимым. Как же достичь этого? Ведь физические возможности людей от природы примерно одинаковы. И тогда была введена в действие пресловутая спартанская система воспитания.

Она, как мы знаем, начиналась с самого рождения человека и основывалась на жестоком принципе: «Выживает сильнейший». Новорожденных осматривали старейшины: если обнаруживался хоть малейший физический дефект, ребенка на глазах у матери сбрасывали в расщелину Тайгетских гор (может быть, среди этих младенцев были будущие философы и поэты?). Здоровых детей семья воспитывала до семи лет, после этого они становились собственностью государства.

Спарта была государством казарменного типа в буквальном смысле: дети жили в казармах маленькими отрядами, беспрекословно подчиняясь старшему. Грамоте обучали лишь настолько, чтобы будущий воин мог прочесть приказ или написать краткое донесение. Основное же внимание – закалке тела. Спали на земле, постелью служили связки тростника, который приходилось рвать голыми руками, зимой и летом ходили босые, в тонких рубахах и плащах. С детства нужно было силой добывать себе еду, кулаками защищаться от ровесников. Взрослые умышленно стравливали детей между собой, чтобы выявить характер каждого: не остановится ли он перед опасностью, не испугается ли боли, не побежит ли, когда станет воином, с поля сражения? Иногда дети не выдерживали такого «воспитания» и умирали, но спартанские законодатели считали: слабому лучше не жить.

Не будем останавливаться на деталях спартанского воспитания. Подчеркнем главное его условие и следствие: вся жизнь граждан (мы имеем в виду свободных граждан, а их в государстве в период расцвета было около девяти тысяч семей) от колыбели до смерти сурово и неизбежно регламентировалась законами государства. Регламент, единый для всех устав, пронизывающий, как уже сказано, всю жизнь спар-

танца, не оставляя ему практически никакой возможности выбрать занятие – все было решено заранее.

Этот порядок полностью относился и к частной жизни, которую только с большой натяжкой можно было назвать таковой. Какой, скажем, смысл было копить деньги (кстати, они в Спарте имели вид железных прутьев: чтобы перенести их с места на место, приходилось нанимать упряжку волов), если в доме запрещалась всякая роскошь, одеты все были одинаково и даже поесть вкусно считалось предосудительным? Спартанцы вообще не обедали дома, их трапезы проходили в палатках, где стоял стол, рассчитанный на пятнадцать человек. Еда была самой простой: сыр, каша, инжир и разбавленное кислое вино для утоления жажды. Даже знаменитая «черная похлебка», приготовлявшаяся из свинины, сваренной в крови с уксусом, солью и луком, казалась остальным грекам чем-то мало съедобным. Рассказывают, что правитель Сицилии Дионисий специально купил спартанского повара, чтобы тот угостил его «черной похлебкой». Отведав ее, Дионисий с отвращением выплюнул «похлебку» и потребовал повара, чтобы наказать его. «Ведь ты ел ее без приправ – спартанской гимнастики и купанья в холодной воде Еврота!» – воскликнул тот в свое оправдание.

Пропустить совместную трапезу (сисситию) считалось самым серьезным нарушением закона. За это могли легко лишиться гражданства, и тогда оставались только смерть или изгнание. Даже свадьба не считалась уважительной причиной. И лишь охота, любимое занятие спартанцев, могла извинить пропуск сисситии. Оправданием служила убитая дичь, которую охотник приносил не домой, а на общий стол товарищам.

Каким же мог быть досуг в этой жизни по уставу? Само понятие «свободное время» не имело здесь никакого смысла, ибо не было никакой свободы выбора занятий по вкусу. То, что условно можно назвать спартанским досугом, полностью подчинялось все той же цели – укреплению государства.

Понятно поэтому пристрастие спартанцев к охоте. Понятно и то, почему они любили развлекаться жестокими военными играми.

Участники игры высаживались на маленьком острове и делились на два отряда. Задача – овладеть островом и сбро-

сильного противника в воду. Дрались без оружия: руками, ногами, царапались, кусались – все было дозволено, лишь бы достигнуть победы. Но это еще сравнительно невинная игра. Юноши развлекались нередко настоящими убийствами, нападая на деревни илотов и уводя мужчин. Уведенных никогда не возвращали: их тайно убивали. Эти набег так и назывались: криптии – тайные. Можно представить, в какой глубокий ужас повергали илотов подобные «игры».

Даже музыку, поэзию, пляску (других искусств они попросту не признавали) спартанцы приспособили к своим целям, лишив тем самым искусство его эстетической самоценности; например, массовые танцы спартанцев подражали поведению воинов или охотников.

Вот, скажем, «пирриха» – этот танец исполняли под музыку духовых инструментов, разделившись на два отряда, часто в полном вооружении, мерно повторяя все движения, которые производят во время битвы.

А вот «гимнопедия» – ее танцевали и одновременно пели мальчики и мужчины, совершенно обнаженные, имитируя движения, характерные для кулачного боя. Танцующие замедленно как бы начинают наносить удары, а затем все ускоряют темп, переходя к бешеным выпадам и прыжкам.

Спартанцы, однако, гордились своими танцорами и даже приглашали посмотреть на свое искусство иностранцев; впрочем, они скорее демонстрировали не искусство, а свою несравненную выносливость и выучку. Я написал «даже», потому что приглашение чужеземцев было делом необычным: боясь влияния чужих нравов, спартанцы не только не звали иностранцев, но периодически изгоняли их из государства, чем, кстати, разительно отличались от афинян. «В свое государство мы предоставляем доступ для всех, – говорил в своей речи Перикл, – мы не высылаем иноземцев и никому не препятствуем ни учиться у нас, ни осматривать наш город. Нас нисколько не тревожит, что кто-либо из врагов увидит что-нибудь несокрытое и воспользуется этим...»

Не надо, наверное, обладать чересчур сильным воображением, чтобы после всего сказанного представить поэтические и музыкальные пристрастия спартанцев. Да, в основном они пели гимны и военные песни: простые и мужествен-

ные слова этих песен восхваляли тех, кто жил благородно и имел счастье умереть за Спарту, и ругали тех, кто оказался трусом на поле битвы. «Я не считаю ни памяти доброй, ни чести достойным...» – говорилось в одной спартанской песне о достойном человеке, – если он славу любую стяжал, кроме воинской славы».

Показательна и организационная, так сказать, сторона дела. Обычно на праздниках (в честь Аполлона, Зевса или героя Гиацинта) спартанцы делились на три хора: стариков, взрослых мужей и мальчиков. Первые запевали: «Когда-то были мы могучи и сильны!» – «А мы сильны теперь, коль хочешь, испытай!» – отвечал им второй хор. – «Но скоро станем мы еще сильнее вас», – перебивали их мальчики. Сила, сила, сила... Как самая главная добродетель. Лейтмотив жизни. Цель и смысл бытия. Добавим, что напевы всех хоров были строго определены, менять их не позволялось, ни о какой «импровизации» не могло быть и речи...

### *Сократ и его собеседники*

Жители Афин тоже гордились своим равенством. Но насколько же иной, по сравнению со спартанцами, смысл вкладывали они в это слово! В Афинах, где после двухсотлетней войны между аристократией и демосом (народом) установился демократический строй, равенство граждан вовсе не предполагало, чтобы все они, как это было в Спарте, одинаково питались, развлекались, одинаково одевались и проводили свое время, чтобы у всех были одинаковые жилища и сходные привычки. Наоборот: нигде, пожалуй, разнообразие обычаев не принималось с такой терпимостью, как в Афинах.

«В частной жизни, – говорил один из политических вождей афинян, – мы не относимся с подозрительностью друг к другу; нас не раздражает, если сосед делает что-либо для своего удовольствия, на нашем лице не появляется при этом досада, хотя и безвредная, но все же способная причинить человеку огорчение».

Известно, что демократия при Перикле достигла в Афинах своего расцвета. Но поразительно, как быстро, всего за полстолетия, выработалось характерное для демократии ува-



жение к достоинству соседа, терпимость к привычкам другого человека, эта заслуживающая восхищения деликатность, когда недопустимым считается не только оскорбление, но даже нечаянно брошенный косою взгляд! И как удивительно, что об этом, как об одном из основных отличий афинян от спартанцев, говорит в своей знаменитой надгробной речи глава афинского государства.

«Что касается воспитания, – отмечает в этой же речи Перикл, – то мы не считаем нужным прибегать к принуждению с раннего детства...» И действительно, хотя все афинские граждане были грамотны, а один из правителей даже ввел закон, что отец, не давший сыну образования, не может рассчитывать в старости на помощь с его стороны, государственных школ в Афинах не было, и родителям предоставлялось право самим выбирать учителей для своих детей.

А с утверждением афинян, что образование должно быть разносторонним – одинаково следует развивать ум, тело и способность восприятия красоты, – согласится сегодня любой человек, знакомый с азами педагогики. Но ведь афиняне не только провозглашали свой идеал, они пытались – и весьма успешно – реализовать его в жизни!

«Образование гражданину, – свидетельствует афинский поэт, – дается в палестре, в школе и в хороводах».

В палестре (от «палэ» – борьба) занимались бегом, борьбой, метанием дисков. Специализация в каком-нибудь одном виде спорта считалась недопустимой – это нарушало представление о красоте и гармонии.

В школе грамматиста дети учились читать и писать, заучивали произведения знаменитых писателей (вспомните, к чему сводилось обучение грамоте в Спарте – к умению прочесть и составить донесение!).

Наконец, в школе кифариста изучали ритмику, хоровое пение, игру на музыкальных инструментах.

От способностей ребенка зависело, какому роду обучения он будет уделять больше внимания и времени, а это, в свою очередь, давало возможность рано проявившимся способностям развиваться дальше.

Гармоническое и свободное воспитание с детства готовило гражданина Афин к самостоятельному – в соответст-

вии с собственными наклонностями и индивидуальностью – выбору занятий, воспитывало в нем личность, отличную от других, а не просто звено государственной машины. Разве не поэтому во всех государствах Греции вместе взятых не было столько талантливых писателей, философов, художников и музыкантов, сколько их выросло в Афинах?

Платон называет афинян филологами – словолюбивыми. И поистине здесь выше других достоинств ценились общение, умная беседа. Сведения, которые современный человек черпает из книг, грек обычно получал из разговоров. Обучение в одних и тех же школах, многочисленные праздники и соревнования, военная служба (эфебия) – все это превращало афинян как бы в одну большую семью. Здесь никто не боялся тратить время на «болтовню», как презрительно сказали бы спартанцы: люди останавливались на площадях, чтобы поговорить с друзьями о новостях, обсудить последние события, театральные зрелища, выступление известного оратора или философа. Общественная свобода, характерная для «золотого века» Афин, определила необычную легкость завязывания знакомств, интеллектуальную оживленность улиц и площадей, так удивлявшую всех посещавших этот город. Неудивительно, что именно в Афинах родилась мысль, формула, не встречающаяся больше нигде: «Человек человеку – бог!»

Известно, что равенство в Афинах означало прежде всего равенство политических прав для всех свободных граждан. «Мы выбираем человека на государственные должности не в зависимости от его принадлежности к той или иной замкнутой группе, а в силу его собственной доблести», – так характеризовал этот строй Перикл. Известно и то, что государство брало на себя заботу о материальном благополучии граждан, обеспечивая им работу, некий прожиточный минимум. Но афинское государство заботилось еще и о развлечениях – естественно, не по спартанскому образцу. Жителям, как свидетельствуют историки, выдавались специальные деньги на посещения театра, и он, театр, достиг здесь небывалого расцвета – не потому ли, в частности, что государство стремилось «обеспечить» его публикой?

Итак, свобода общения на улицах, площадях, в частных домах и общественных зданиях – в этом коренное отличие

бытовой жизни Афин от Спарты. Интеллектуальный климат Афин в каждом гражданине стимулировал духовный рост. Открытые философские диспуты, в которых принимал участие каждый желающий, – неотъемлемая часть досуга афинян; не было такого философа, мысли которого не выносились бы на публичный суд. Отсюда такое разнообразие философских школ; в полемике складывалась античная диалектика, с отрочества граждане погружались в атмосферу неумных и бесстрашных научных исканий.

Мы знаем, что на афинских площадях десятилетиями развивал свое учение Сократ. Цицерон заметил однажды, что Сократ свел философию с неба на землю, с кафедры на рыночную площадь. Сын камнереза и повивальной бабки, этот удивительный искатель истины собирал вокруг себя толпы слушателей и заводил беседы, стремясь своими «каверзными» вопросами загнать собеседника в тупик. Но послушайте, что проповедовал, чему учил этот мудрец! Исследуя, «что благочестиво и что нечестиво, что прекрасно и что безобразно, что справедливо и что несправедливо», он приходил к выводу, что доблести и благородству можно обучиться так же, как и всему прочему. И если даже в демократических Афинах вывод этот казался покушением на права древних, прославленных родов, то можно ли себе вообразить, чтобы человек, так мало почитающий благородство происхождения, мог бы так долго и свободно проповедовать свое учение в каком-либо другом городе Греции?

Свободы не может быть без свободного времени. И афинское государство, в отличие от спартанских правителей, не боялось оставлять своим гражданам свободное время. Перикл даже утверждал, что «афиняне справляют праздников... вдвое больше, чем остальные люди».

Праздник у афинян вовсе не означал праздность: его пронизывал дух агонистики (соревнования). Это проявлялось и в произнесении изысканных тостов во время пира, и в состязаниях атлетов или поэтов и музыкантов. Почти каждый праздник ознаменовывался торжественным и всеобщим факельным шествием, доставлявшим наслаждение и участникам, и зрителям. Во время Великих Дионисий, весенних празднеств, шло соревнование авторов трагедий. Каждый ав-

тор представлял в течение дня три трагедии и одну веселую (ее называли сатировской) драму. Почти весь город стекался в огромный, расположенный под открытым небом амфитеатр. А потом судьи, выбранные по жребию из граждан, распределяли премии. Голосовать полагалось тайно, повлиять на решение судей было невозможно – они выбирались уже во время представления.

Многие жители Афин видели в праздниках смысл и оправдание своего существования, выход из повседневности, радость физического и интеллектуального напряжения. Но при этом не каждому нравилась шумная толпа, окружавшая мчащиеся колесницы или дерущихся кулачных бойцов, не каждому было приятно сидеть на вырубленных в скалах скамьях переполненного театра и слушать гогот толпы, возбужденной солеными шуточками автора комедии. В таком случае человек имел полное право не участвовать в общем веселье. И Перикл специально оговаривал это: «Одни получают радость на праздниках, организованных государством, другие изгоняют печаль из души и получают повседневное наслаждение в частных домах».

Спарта – это регламент во всем, вплоть до причесок юношей. Афины – это полная свобода выбора. Вот почему досуг афинян и досуг спартанцев не имели между собой ничего общего...

В заключение хотелось бы напомнить, что не стоит, как ни симпатична нам афинская демократия, идеализировать ее: ведь это была демократия рабовладельцев. Около половины всего населения составляли рабы, которые не имели не только гражданских, но и просто человеческих прав, и которых даже выдающиеся мыслители Афин называли «человеконогими». Если вспомнить бесправное положение пришельцев из других мест, если «вычесть» женщин, положение которых было сходно с рабским, то мы поймем, что благами афинской демократии пользовалась в лучшем случае одна седьмая часть населения.

И все же мы вновь и вновь обращаем свои взоры к разным сторонам жизни и быта этого удивительного государства, давшего миру мудрый урок.

## ДРЕВНИЙ РИМ И ЕГО КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

«Латынь из моды вышла ныне...» – писал А. С. Пушкин более ста сорока лет назад, и фразу эту, ставшую поговоркой, нередко можно услышать и в наши дни. Однако, повторяя эти слова, мы не задумываемся над тем, правильно ли отражено в них отношение общества к латыни в эпоху Пушкина и в какой степени мысль эта справедлива для нашего времени.

Знаменитая фраза из первой главы «Евгения Онегина» характеризует недостаточность образования героя романа и отнюдь не относится к передовым людям начала XIX века. Если взять, например, самого Пушкина, то никак нельзя сказать, что его знания римской культуры хватало только на то, «чтоб эпитафьи разбирать». В Лицее, где учился Пушкин, языку и культуре древнего Рима придавали такое большое значение, что эти предметы составляли основную часть всей системы образования. В том же «Онегине» Пушкин вспоминает, как, уединяясь в свободное от уроков время, он охотно читал написанные по-латыни творения римских авторов.

Возьмем оглавление любого из томов сочинений Пушкина – и мы убедимся, что поэту близки и дороги славные имена и события античной истории: «Из Горация», «Из Катулла», «К Лицинию», «На выздоровление Лукулла», «Подражания древним»... Для всякого мало-мальски образованного современника Пушкина имена, образы и сравнения, встречающиеся в его стихах, казались естественными и понятными. Даже Онегин, образование которого Пушкин высмеивает, мог «потолковать о Ювенале», привести несколько стихов из «Энеиды» и высказать свое, пусть не слишком обоснованное, мнение о Гомере и Феокрите.

Немало времени или, как говорят, немало воды утекло с тех пор, как был написан «Евгений Онегин»; жизнь шагнула далеко вперед. Развитие знаний привело к тому, что подрастающему поколению теперь уже невозможно наряду с изучением основ естественных и технических наук так же основательно заниматься культурой далекого от нас рабовладельческого общества. В наше время латынь как будто окончательно «вышла из моды». Не часто сейчас можно встретить человека, который помнил бы наизусть два-три стиха из «Энеиды» или разобрал без словаря хотя бы латинский эпитаф, открывающий следующую главу «Онегина». Да и так ли уж это нужно? Цитировать «Энеиду» вовсе не обязательно, латинский эпитаф в современных изданиях всегда объяснен в примечании, а латинское «vale», которым любил завершать свои письма Евгений Онегин, ничуть не лучше русского «будь здоров» или «до свидания».

Однако с ликвидацией «латинского наследства» дело обстоит далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Культура античности так долго была обязательной частью образования, что восходящие к классической древности выражения, поговорки, образы и сравнения приобрели у нас как бы право гражданства и вошли непрременной составной частью в русскую культуру. Даже не сознавая этого, мы постоянно пользуемся культурным наследием древности.

Взять к примеру выражение, с которого начинался один из предыдущих абзацев: «немало воды утекло». Когда читаешь или слышишь эту столь привычную фразу, невольно представляешь себе широкую реку, непрестанно несущую в море тысячи и миллионы кубометров воды. Однако происхождение этого выражения не имеет никакого отношения к рекам и ручейкам. Оказывается, текущая вода служила для древних средством измерения времени. Пружинных часов тогда еще не было, и в пасмурный день узнать, который час, можно было только при помощи водяных часов: сколько утекло воды – столько прошло времени.

Ежедневно, ежечасно, даже ежеминутно мы употребляем, читаем и слышим выражения и слова, ведущие свое происхождение от античности. Недаром Ф. Энгельс писал: «Без основания, заложенного Грецией и Римом, не было бы со-

временной Европы». В литературе и искусстве, в архитектуре, в организации празднеств и общественных развлечений, в государственном и гражданском праве, в стратегии и тактике современных армий мы то и дело встречаемся с названиями и обычаями, понять происхождение которых можно, только обратившись к античности. Названия научных дисциплин, имена, которые носят наши товарищи, названия месяцев, а в некоторых языках и дней недели, такие ставшие для нас привычными слова, как пролетарии, календарь, литература, – все это может быть понято, только если мы обратимся к культуре древнего Рима.

Знаменитый французский писатель Мольер вывел в одной из своих комедий невежественного выскочку Журдена, который только на старости лет, к своему великому удивлению, узнал, что всю жизнь говорил прозой.

В таком положении может оказаться всякий, кто не даст себе труда хотя бы в общих чертах познакомиться с происхождением и историей тех названий и обычаев, которые с давних пор вошли в жизнь нашего народа, а свое начало берут в классической древности.

Культура всякого народа неразрывно связана с его историей. За свою более чем тысячелетнюю историю Римское государство прошло большой и сложный путь развития. Основание Рима, «Вечного города», обычно датируют серединой VIII в. до н. э. Первые два с половиной столетия Рим не выделялся среди других городов Италии ни могуществом, ни численностью населения. Главную роль в общине в первые века ее существования играли патриции – коренные обитатели первоначальной территории города. Они покорили окрестных жителей и превратили их в зависимое, лишенное политических прав население. Покорившиеся патрициям люди – их называли плебеями – могли владеть землей, служили в римской армии, но не участвовали в Народном собрании и не могли быть выбраны на государственные должности. Им было запрещено брать себе жен из патрицианских семей и выдавать своих дочерей за патрициев.

Во главе Рима стоял рекс (вождь союза племен) и Сенат (Совет старейшин). Высшая власть принадлежала Народному собранию, состоявшему исключительно из патрициев.

Слово «рекс» принято переводить словом «царь», и весь начальный период истории Рима поэтому называют «царским». Это обозначение не совсем правильно, так как рекс не имел власти неограниченного правителя. Должность рекса, как это обычно бывает при первобытнообщинном строе, еще не передавалась по наследству, и власть его была ограничена Народным собранием и Советом старейшин. Стремясь сохранить военную мощь своей общины, рекс часто выступал против произвола знати, охраняя интересы рядовых воинов.

С усилением знати патриции перестали мириться с обременительной для них властью рекса. Изгнанием последнего рекса, Тарквиния Гордого (510 г. до н. э.), заканчивается «царский период», и в Риме устанавливается республика. Патриции стали выбирать из своей среды двух консулов, власть которым вручалась только на год. Благодаря этому консулы больше зависели от патрициев, чем рексы с их пожизненной властью.

Основным содержанием внутренней истории первых двух веков Республики была борьба патрициев и плебеев. Усиление знати привело к ухудшению положения бесправных плебеев. Хотя они наряду с патрициями служили в армии и защищали родину, но плебеи по-прежнему не принимали никакого участия в управлении общиной и не имели своих представителей среди должностных лиц. Отсутствие писаных законов давало широкий простор для произвола аристократических судей, выбиравшихся также из патрициев. Лучшая земля в Риме принадлежала патрициям, а участки плебеев были настолько малы, что урожая часто не хватало, чтобы прокормить семью. Приходилось занимать хлеб у богатых патрициев, должника и членов его семьи в случае неуплаты обращали в рабство.

Плебеи требовали от патрициев записи законов, разрешения браков с патрициями, права для своих представителей занимать государственные должности. Еще важнее для бедняков-плебеев был вопрос о переделе земли и об отмене долгового рабства. Плебеи составляли в Римской республике большинство населения, и знать была вынуждена пойти на уступки, чтобы сохранить военное могущество государства.



Ранняя история Рима окутана густым мраком, и мы мало знаем о ходе событий, которые привели к уравниванию в правах плебеев и патрициев. Известно только, что в конце концов плебеи добились передела земли, запрещения превращать за долги римских граждан в рабов, доступа ко всем должностям в государстве и равных с патрициями прав в Народном собрании.

В последующие периоды римской истории граждане различались уже не по происхождению из плебейских или патрицианских родов, а по богатству и влиятельности предков. Семьи, представители которых из поколения в поколение входили в Сенат и занимали различные государственные должности, стали называться нобилиями (в буквальном переводе – «известными», «прославленными»). Для простых семей сохранилось название плебеи – плебс, применявшееся теперь к простым людям, у которых не было прославленных предков. В этом смысле слова плебей, плебейский вошли в русский язык.

После завершения борьбы плебеев и патрициев Римская республика сохраняла аристократический характер. Высший совет государства по-прежнему пополнялся только бывшими должностными лицами, и простому человеку доступа в него не было. Исполнение государственных должностей в Риме не оплачивалось. Бедный человек, даже если бы народ удостоил его своим доверием, все равно не смог бы заниматься общественными делами, если бы только не захотел, чтобы его семья нуждалась во всем необходимом.

Но римский народ и не выбрал бы бедного человека на высокую должность. Беднякам в Риме государство не оказывало никакой помощи, и единственным достоянием разорившегося римского гражданина было его право избирателя. Честолюбивые богачи, домогавшиеся высоких государственных должностей, тратили огромные средства, покупая голоса тех римлян, которых нужда заставляла продавать свое право избирать руководителей государства. Известен случай, когда кандидат на должность консула роздал своим избирателям такое количество зерна, что каждый получивший был обеспечен хлебом на три месяца. Естественно, что этот кандидат оказался избранным. В течение ряда столетий высшие долж-

ности в Республике занимали представители одних и тех же семей, в то время как талантливые и умные люди, если только они не были знатного происхождения, не имели никакого влияния на общественную жизнь.

Внутренние реформы все-таки оказали большое влияние на историю Рима, превратив римских граждан в коллектив, сплоченный общими интересами. Среди римлян не было теперь рабов-должников, бедняк мог рассчитывать на материальную поддержку во время избирательной кампании — все это заставляло мириться с засильем знати и несправедливостями государственного строя.

Сплоченность граждан дала возможность римлянам начать успешные завоевания в Италии. В это время на всем Апеннинском полуострове не было народа, который мог бы противостоять их натиску.

Жившие к северу от Рима этруски стояли на гораздо более высоком уровне экономического развития. У них уже были большие города с высокоразвитым ремесленным производством; они были смелыми мореходами, занимались торговлей, имели письменность. Однако непрочное объединение этруских городов, благосостояние которых покоилось на эксплуатации зависимого населения, раздирали внутренние противоречия.

Горные племена самнитов, обитавшие в восточной части Средней Италии, были в социальном и экономическом отношении более отсталыми, чем римляне. У многих из них еще не было изжито долговое рабство. Враждовавшие между собой общины не смогли объединиться даже под угрозой римского завоевания.

На юге Италии богатые и многолюдные греческие колонии были ослаблены длительной борьбой между аристократией и народом. Напрасно в борьбе с Римом греки призвали своих земляков с Балканского полуострова. Прибывшая из Эпира армия царя Пирра была разбита. «Великая Греция» не смогла устоять против возросшего могущества Рима.

В начале III в. до н. э. Италия, за исключением крайнего севера, подпала под власть римлян. Завоеватели не облагали покоренных италийцев никакими налогами, но отбирали у них часть земли и заставляли в случае войны присылать в рим-

скую армию вспомогательные отряды. Часть отобранной у италийцев земли сдавалась государством в аренду или пускалась в продажу, а часть бесплатно раздавалась малоземельным римским гражданам. Благодаря этому в завоеваниях была заинтересована не только знать, но и беднейшее крестьянство.

Время с середины III до середины II в. до н. э. вошло в историю Рима как период Пунических войн. Рим вступает в борьбу с североафриканским городом Карфагеном за господство в западной части Средиземного моря. Яблоком раздора послужила Сицилия – плодородный остров, лежащий у южных берегов Италии.

В результате Пунической войны власть Рима распространилась на Сицилию, а также на острова Сардинию и Корсику. Вскоре римляне покорили галльские племена Северной Италии, доведя свою границу до самых Альп. Во II Пунической войне Рим окончательно добился преобладания над Карфагеном и захватил средиземноморское побережье Испании. В промежутке между II и III Пуническими войнами Риму удалось занять господствующее положение также и в восточной части Средиземноморья. В сферу римского влияния вошли Балканский полуостров и Малая Азия. Во вторую половину II в. эти территории, а также часть северного побережья Африки (в результате III Пунической войны) превратились в римские провинции. Этим словом стали обозначать подвластные Риму территории, лежащие вне Италии. Провинции управлялись присылаемыми из Рима наместниками; население провинций облагалось высокими налогами и до I в. не имело права служить в римской армии.

Когда Рим стал господином Средиземноморья, в него широким потоком из завоеванных стран хлынули рабы, хлеб, золото и другие товары. Приток дешевого хлеба разорял крестьянство Италии. Увеличилось число пролетариев – так в Риме называли людей, не имевших ничего, кроме своего потомства («пролес» по-латыни потомство). Огромное скопление рабов и неимущих свободных создавало опасность восстаний.

Последний период Республики (с середины II до середины I в. до н. э.) носит название эпохи гражданских войн. Это время заполнено усиливающимися восстаниями рабов, дви-

жениями деревенской и городской бедноты, борьбой политических честолюбцев за власть в государстве. Достаточно вспомнить о потрясших государство восстаниях в Сицилии, о великой войне, которую вели рабы под руководством Спартака. Республиканская организация государства не могла обеспечить достаточно сильной власти, необходимой в минуту опасности для борьбы с рабами и примыкавшими к ним свободными бедняками.

Неизбежность перехода к единоличной диктатуре признавали почти все. Вопрос стоял только о том, кто сумеет захватить власть. Опорой домогавшихся власти политических деятелей стала римская армия. В эпоху гражданских войн, после того как воины стали вербоваться из неимущих, армия перестала быть ополчением римского крестьянства и приобрела характерные черты войска наемников-профессионалов. За удачливым полководцем, обеспечивающим воинам хорошее жалованье и богатую добычу, такая армия готова была пойти даже против своего родного города.

После того как попытки утвердить единоличную диктатуру, опираясь на недовольные своим положением слои населения, потерпели неудачу, борьба за власть свелась к соперничеству военных командиров: Марий и Сулла, Помпей и Цезарь, Антоний и Октавиан стараются завоевать преданность своих солдат, отдавая им на поток и разграбление цветущие города и целые провинции.

Разорившиеся крестьяне охотно шли на военную службу, так как она давала им надежду на обеспеченную старость: отслужившие свой срок воины получали большие денежные подарки и земельные наделы. Когда кому-либо из полководцев удавалось захватить власть, он, чтобы удовлетворить поддерживающих его солдат, конфисковывал имущество своих политических противников, не останавливаясь перед массовыми казнями и убийствами. Составлялись проскрипционные списки, куда вносились имена всех противников существующего режима. Людей, занесенных в эти списки, разрешено было убивать каждому, и убийца получал в награду часть имущества жертвы.

Гражданские войны и связанные с ними беззакония, массовые побеги рабов, развитие пиратства, голод и разруха на-

пугали римских собственников и внушили им неуверенность в завтрашнем дне. Когда оказавшийся победителем в борьбе за власть Октавиан Август отменил проскрипции, уменьшил армию и установил твердый порядок, его приветствовали как спасителя отечества от бедствий гражданской войны и «восстановителя республики».

Даже честные республиканцы, некогда сражавшиеся против сторонников диктатуры, – таким был, например, знаменитый римский поэт Гораций – приняли правление Августа как меньшее зло. Крепкая власть обеспечивала господство Рима над завоеванными провинциями, гарантировала от восстаний рабов и обеспечивала богачам спокойное владение их имуществом.

Для той части старой знати, которая сумела уцелеть в период гражданских войн, Август сохранил видимость республиканских учреждений, предоставив нобилем возможность заседать в Сенате и занимать высшие государственные должности. По-прежнему собиралось Народное собрание, происходили выборы должностных лиц, по-прежнему законы издавались от имени Сената и римского народа.

Диктатор старался избежать внешних признаков монархии: его звания не включали ни одного нового титула, не считались пожизненными, а возобновлялись каждые десять лет. Август не допускал, чтобы в театре и на улицах народ падал ниц при его появлении или оказывал ему какие-либо особые почести.

Многие современники считали, что с приходом к власти Августа ничего не изменилось и в Риме по-прежнему существует республика. Однако это было не так. Изучающие эту эпоху историки определяют время Августа как первый период империи – военной диктатуры, носившей монархический характер. Никто не мог быть избран ни на какую должность вопреки воле всемогущего владыки, ни один вопрос не мог быть поставлен на обсуждение Сената или Народного собрания без согласия императора. Секрет могущества главы государства заключался в его контроле над армией.

Звание императора формально не давало его носителю никаких особых прав. Это звание, присваивавшееся в республиканский период всякому победоносному полководцу,

впоследствии стало означать командующего всеми военными силами государства. Несмотря на то, что за 44-летний срок своего правления (30 г. до н. э. — 14 г. н. э.) Август неоднократно занимал должность консула, пользовался правами трибуна, был принцепсом (главой) Сената, основой его власти было верховное командование армией, которая находилась в его полном распоряжении. После падения Республики римский народ был лишен привычной для него возможности влиять на управление государством. Политические права граждан превратились в чистую фикцию. Чтобы отвлечь народ от общественных вопросов и умерить недовольство неимущих слоев населения, Август проводил политику массовых подачек. В течение своего правления Август ежемесячно раздавал зерно, часто устраивал для римлян гладиаторские бои. В Риме был построен бассейн, предназначенный для морского сражения, в котором участвовало одновременно более трех тысяч гладиаторов.

Политический порядок, установленный Августом, продержался с незначительными изменениями до конца III в. н. э., когда были окончательно отброшены пережитки республиканского строя и в Риме установилась деспотическая власть, подобная власти восточных монархов.

\* \* \*

Трудно назвать такую область культуры, где римляне не оказали бы влияния на последующие поколения. В медицине, географии, астрономии, архитектуре можно обнаружить открытия, сделанные учеными древнего Рима. В науке и технике римляне преследовали прежде всего практические цели. Италия была страной, где сельское хозяйство было ведущей отраслью производства, и понять римскую культуру невозможно, не имея представления о сельском хозяйстве Италии. Достаточно сказать, что получившее теперь столь широкое распространение слово культура первоначально означало «возделывание почвы», «уход за землей». Сочинения римских агрономов во многом предвосхитили взгляды современных ученых.

В своих бесконечных войнах римляне разработали основы военного искусства, которое не утратило своего значения

и для современности. Офицеры всех армий изучают военную организацию римлян. Боевые операции, осуществленные Марием, Цезарем и Сципионом, считаются образцовыми наряду с операциями, проведенными Суворовым, Кутузовым, Наполеоном.

В учебных заведениях всего мира юристы изучают римское право. Система правовых отношений, созданная в величайшем государстве древности, зафиксированные в нем точные юридические понятия до сих пор служат образцом для законодателей.

Памятники римской литературы послужили примером для многих европейских писателей. Античных писателей стали называть римским словом «классики», обозначающим «первоклассные, образцовые». Творения Вергилия, Горация, Овидия навсегда вошли в сокровищницу мировой литературы. Чтение этих писателей позволяет понять многие явления современной литературы.

## ЖИЗНЬ АНТИЧНЫХ МИФОВ

Мифологический словарь предназначен служить справочником для всех, кто хочет сознательно воспринимать образы и выражения, встречающиеся как в литературных, так и в исторических памятниках. Многие пользуются им от случая к случаю, снимая с полки только тогда, когда наталкиваются на малопонятное мифологическое имя или крылатое выражение, восходящее к античности. Однако по мере того, как отдельные сведения по греческой мифологии накапливаются, читателю хочется как-то обобщить полученные знания, и у него возникает интерес к мифологии как науке. Перед ним неминуемо встают вопросы, что такое миф, как подразделяются мифы, в каких обстоятельствах и почему они возникают, и, наконец, самый главный вопрос – почему мифы не перестают интересовать людей и сейчас, спустя тысячелетия после их возникновения. До сих пор остается тайной, почему греческие мифы не позабыты, как это произошло с другими наивными представлениями древности.

Греческое слово *μυθος* означает «рассказ», «повествование» и имеет почти то же значение, что и слово *λογος*. Однако в значении этих слов имеется различие – примерно такое же, как между русскими словами «басня» (от глагола «баять») и «сказ» (от глагола «сказывать»). В современном языке в слове «басня» содержится оттенок недоверия к тому, о чем «бают»: «Полно басни-то рассказывать!» – говорим мы, когда сомневаемся в правдивости слов собеседника. Такое же отношение утвердилось у греков к термину «μυθος»: его стали отличать от слова «λογος» – «повествование», «разумное слово». В позднем греческом языке оно приобрело значение малодостоверного рассказа, легенды, сказки.



Положение изменилось, когда в XIX в. на основе этнографических исследований выяснилось, что греческие мифы отражают в фантастической форме далекое прошлое человеческого общества. Характерной особенностью древних религий, как, впрочем, и других форм общественного сознания, было то, что они всегда отставали от постоянно меняющейся социальной жизни. Религия консервативна по своей природе и очень неохотно идет на перемены; так, до недавнего времени католики пользовались ставшим уже мертвым латинским языком, а православные – церковнославянским, в котором сохранялись древние, вышедшие из употребления слова и языковые нормы.

Устное оформление большинства греческих мифов происходило в так называемое «гомеровское время» (XI–IX вв. до н. э.), но мифы рисуют общественные отношения не этого времени, а предшествующей микенской эпохи. Отражение в религии земных связей между людьми происходило как бы с опозданием. В записанных впоследствии «Илиаде» и «Одиссее» олимпийские боги и герои живут не по законам своего времени (периода раздробленности) – в мифах сохраняются установления микенской эпохи. Это обстоятельство делает греческую мифологию ценной вспомогательной исторической дисциплиной, позволяющей извлекать из мифов сведения о времени, от которого не дошло никаких или почти никаких письменных источников. Теперь мифологией называют не только совокупность мифов какого-либо народа, но и науку о возникновении и трансформации мифов, дающую возможность реконструировать дописьменные периоды древнейшей истории.

Примеров такого рода реконструкции можно привести много. Наблюдения над североамериканскими индейцами (ирокезами и гуронами) позволили этнографу Л. Моргану сделать вывод, что многие известные из греческой истории обычаи обязаны своим происхождением общим для всех первобытных племен законам. «Поскребите как следует грека – и из него выглянет ирокез», – утверждал Морган. Он установил, что отцовскому родовому устройству предшествовал порядок, когда счет родства велся по материнской линии. В древнейшее время мать считалась более важным и близким родственником, чем отец.

К такой же мысли независимо от Л. Моргана пришел швейцарский историк права И. Я. Бахофен (1815–1887 гг.), который увидел в греческом мифе об Оресте и Клитемнестре следы происшедшей в глубокой древности замены материнского права (по его выражению, «гинекократии») отцовским (патриархатом). Бахофен считал мифы истолкованием бытовавших в жизни и ставших непонятными символов и обрядов. Своим методом Бахофен считал «исследование гинекократии древнего мира на основе его религиозной и правовой структуры». Начиная с выхода его книги (1861 г.), понятие патриархата и матриархата (которым он заменил термин «гинекократия») широко вошли в научный обиход.

И. Я. Бахофен исследовал «Орестею» – миф о том, как микенский царевич Орест отомстил за своего отца и покарал смертью его убийцу – свою родную мать. Ореста хотели наказать древние богини Эриннии, однако за него вступились боги младшего поколения и в конце концов избавили царевича от наказания. Бахофен усмотрел в этом мифе отражение замены материнского права отцовским. Таким образом, едва ли не впервые истолкование мифа послужило для объяснения многих известных из истории и этнографии фактов.

Один из обычаев той эпохи иллюстрирует и миф о рождении греческого героя Персея. Наследование в ту пору шло по материнской линии. Внук, сын дочери племенного вождя, мог этого вождя, когда тот состарится, сместить, а иногда (такие обычаи известны из этнографии) и убить. Поэтому племенные вожди, или «цари», как мы их не совсем правильно называем, часто старались воспрепятствовать замужеству своих дочерей. Так поступил и дед Персея Акрисий, которому была предсказана смерть от руки сына его дочери Данаи. Подобные предсказания об опасности, ожидающей деда от будущего внука, мы встречаем и во многих других мифах. Чтобы избежать рождения внука, Акрисий держал Данаю взаперти, а когда Персей все-таки родился, постарался избавиться от него, бросив мать и ее сына в море в деревянном ящике. Этот сказочный мотив в сильно переработанном виде мы встречаем в пушкинской «Сказке о царе Салтане». О сходном обычае времени материнского права напоминает и русская сказка об Иване-царевиче, совершающем подвиги, что-

бы жениться на прекрасной Марье-царевне, заточенной жестоким отцом в высокой башне.

В мифе об Ифигении, дочери героя Троянской войны Агамемнона, отразились запрет человеческих жертвоприношений и замена их принесением в жертву животных. В легенде рассказывалось, что в последний момент перед закланием Ифигении богиня Артемида спасла жертву и унесла ее в далекую Тавриду; вместо девушки на жертвеннике оказалась лань (ср. библейский рассказ о жертвоприношении Авраама).

Следует особо остановиться на тех мифах, в которых отразились реальные исторические события (переселение дорийцев, осада греческими царями Фив, Троянская война). Археологические раскопки XIX–XX вв. доказали, что описанные в мифах события действительно имели место. Однако необходимо иметь в виду, что сказители, превращая «преданья старины глубокой» в эпические поэмы, отнюдь не были историками в современном смысле этого слова. Передавая из поколения в поколение сказания о крупнейших событиях в жизни своего народа, они заимствовали от предков только внешнюю канву событий, беря описание деталей и характеристики персонажей из окружающего их быта. В поэмах Гомера, например, события II тысячелетия до н. э. (воспоминания о могучем Микенском царстве) сочетаются с реалиями периода раздробленности «гомеровского времени» (земляной пол в доме Одиссея, стирка белья царевной Навсикаей, ткацкий станок царицы Пенелопы, жены Одиссея). Смешение различных исторических эпох в изложении мифов не должно удивлять нас, но требует от истолкователя сугубой осторожности в использовании их в качестве исторического источника.

Для того чтобы лучше понять сложность и противоречивость греческой мифологии, следует хотя бы кратко рассказать, откуда мы черпаем наши сведения об античных мифах. Первыми авторами этих преданий были, по-видимому, бродячие певцы-эды, характер и творчество которых можно себе представить по описанию слепого певца Демодока в VIII песне «Одиссеи». Сочиненные ими сотни, а может быть, и тысячи песен уже утрачены, но в VIII или даже в VII в. до

н. э. часть их была объединена гениальным рапсодом (греческое слово, означающее «сшиватель»), которого мы зовем Гомером, в две большие эпические поэмы «Илиаду» и «Одиссею», записанные в Афинах и дошедшие до нашего времени.

Почти одновременно с оформлением этих поэм появился дидактический (т. е. преследующий учебные цели) эпос. Самым ярким его представителем был беотийский поэт Гесиод, сочинивший дошедшую до нас «Теогонию» – поэму о происхождении богов. В формировании греческой мифологии большую роль сыграли также и лирические поэты VII–V вв. до н. э. Особенно важны стихи Пиндара и Вакхилида. В их творчестве сохранились мифы о происхождении и подвигах многих богов и героев, почитавшихся в их родных государствах.

Предпосылкой к созданию местных мифов были претензии аристократических родов на «божественность» их происхождения и тем самым на законность своей власти. Современного читателя удивляет обилие браков Зевса не только с богинями, но и со смертными женщинами. Создавались легенды, что прародительницы царских родов (Европа, Даная, Леда, Алкмена) вступали в связь с царем богов Зевсом и их потомки имели поэтому законные права на власть.

Существование в независимых греческих государствах различных поэтических школ способствовало сохранению параллельных культов богов, ведавших одними и теми же явлениями природы. Так, мы встречаем у греков двух богов солнца: Гелиоса и Феба–Аполлона, двух богинь луны: Селену и Артемиду, множество богов, олицетворяющих морскую стихию: Посейдона, Океана, Неряя, Протея и других. Не следует искать в греческой мифологии логики и последовательности. Нельзя забывать, что она складывалась в течение многих веков и, несмотря на попытки ученых-мифологов ее систематизировать, так и не получила своего окончательного завершения, т. е. не был выработан строгий канон и не были обрублены многочисленные местные ответвления. В этом кроется трудность изучения античной мифологии, но это же придает ей неиссякаемую прелесть, так как оставляет возможности для творчества и домысливания.

Такой возможностью широко пользовались драматические поэты, жившие в Афинах в V в. до н. э. – Эсхил, Софокл и Еврипид. Разрабатывая мифологические сюжеты, афинские трагики поднимали моральные и философские проблемы, волновавшие их современников. Почти одновременно с великими трагиками работал в Афинах ученый, занимавшийся генеалогиями богов – Ферекид. Он сумел привести известные ему мифы в единую систему. Хотя его труд не сохранился, мы располагаем его пересказом в книге греческого писателя начала нашей эры Дионисия Галикарнасского и представляем себе, какая система античной мифологии сложилась к концу классического периода.

Большой вклад в мифологическую науку внесли ученые, которые работали в эллинистическом Египте, пользуясь богатствами Александрийской библиотеки и покровительством египетских царей Птолемеев. Для своих поэтических обработок мифов эти ученые мужи привлекали малоизвестные легенды и предания. До нас дошла сравнительно небольшая часть их творчества, например, «Аргонавтика» Аполлония Родосского, но содержание их произведений широко известно благодаря римским поэтам-неотерикам и Овидию. Прозаические произведения александрийских ученых были сведены воедино в «Мифологической библиотеке», приписываемой афинянину II в. до н. э. Аполлодору.

Источниками по греческой мифологии служат также поздние произведения поэтов и прозаиков, работавших в разных частях Римской империи (например, поэма Стация «Фиваида»). Хотя ценность этих книг незначительна, приводимый в них материал все же должен учитываться при изучении античной мифологии.

Одной из причин популярности греческих мифов было то, что они дошли до нас в изложении великих писателей древности. Однако «живучесть» мифов объясняется не только тем, что они продолжают доставлять нам художественное наслаждение, но и тем, что мифы отвечают нашим подсознательным духовным потребностям и волнуют нас сейчас почти так же, как волновали греков тысячелетия назад. Над загадкой этой «живучести» бьются уже несколько поколений

не только специалистов по истории и мифологии, но и философов и психологов.

Сравнительно просто объяснить происхождение и длительность существования так называемых «этиологических» мифов (от греческого слова *αἴτια* – вина, причина). Эти мифы объясняют, откуда пошли непонятные современникам названия стран, гор, морей и т. д. Людям свойственно интересоваться происхождением этих таинственных для них названий. Они обычно бывают заимствованы из забытых языков народов, которые когда-то населяли эти территории. Объяснить их научно можно только путем упорного труда по расшифровке и толкованию мертвых языков. Этиологические мифы, пусть наивно, все же объясняют, откуда, например, взялись названия Эгейского или Икарыйского морей, наименования греческих племен – ахейцев, ионян, эолян, дорийцев. Миф о нимфе Эхо призван был объяснить, почему в горах мы часто слышим отголоски, точно повторяющие громко выкликнутое слово.

Сложнее объяснить причину «живучести» героических или сказочных мифов. Конечно, исторические события, легшие в их основу, оставили глубокий след в народной памяти и с течением времени были мифологизированы, т. е. подверглись фантастической обработке. Примером могут служить мифы о походах аргонавтов, о Троянской войне, походах семерых против Фив, походах Гераклидов и многие другие. Однако эти события едва ли сохранили бы для нас интерес, если бы рассказ о них не отвечал нашим, может быть, подсознательным, духовным потребностям. Людей всегда манили неизведанные земли, привлекало чудесное и таинственное, в какой-то степени это наше влечение удовлетворяют мифы об аргонавтах, о странствиях Одиссея, о чудовищах Скилле и Харибде, о сиренах – полуженщинах-полуптицах, приманивающих своим чарующим пением мореходов. Не тем же ли, но только современным стремлением к чудесному объясняется наше внимание к любой публикации о чудовище озера Лох-Несс, о снежном человеке или о неопознанных летающих объектах?

В человеческой душе всегда теплится вера в конечное торжество справедливости: нас радует, что боги даруют бессмертие Гераклу за его беспримерные подвиги. Человек, как по-

лагают мудрецы, не должен забывать об ограниченности своих возможностей, о своем бессилии перед стихиями. Во многих мифах осуждается «гибрис» – надменность, самонадеянность героя, возомнившего себя равным богам. Благородный Беллерофонт приказал крылатому коню Пегасу перенести его к богам на Олимп – и был сброшен с неба на землю. Царица Ниобея решила, что превосходит богиню Латону. Богиня жестоко покарала ее, убив всех ее детей. В какой-то степени осуждение человеческой самоуверенности присутствует и в мифе о трагической судьбе фиванского царя Эдипа, который усомнился в силе рока и правильности предсказания Аполлона-прорицателя. А разве современному человеку природа не мстит за то, что он, ослепленный своим могуществом, перестал считаться с ней?

Судьба в греческих мифах всесильна. Все герои и даже боги подвластны року. Современный человек часто относится к этому скептически, тем не менее кто из нас не содрогнется, неожиданно услышав страшное предсказание? Кто не обратит внимание на повторяющиеся неблагоприятные приметы, даже прекрасно понимая их нелепость?

Древние греки, как и все последующие поколения культурных людей, ставили перед собой так называемые «вечные вопросы» и старались найти на них ответы в своих мифах. Мы уже говорили о мифе об Оресте: имеет ли право человек поднять руку на родившую его женщину, вправе ли он вообще осуждать своих родителей? Что выше – унаследованная от предков традиция или воля правителя (миф об Антигоне)? Имеет ли право человек жертвовать чужой жизнью, тем более жизнью собственной дочери, пусть даже ради великой цели (миф об Ифигении в Авлиде)? Греческие мифы созвучны любой эпохе и встречают такой же отклик в душе человека нашего времени, как и тысячелетия назад.

Воздействие греческой мифологии на римлян, а через них на современных людей трудно переоценить. Для наших современников морально-философское содержание мифов не менее важно, чем их сюжетная канва.

## ИВАН ИВАНОВИЧ ТОЛСТОЙ И ЕГО ВРЕМЯ <sup>1</sup>

В 1940 году я был аспирантом и самым молодым гостем на дне рождения у профессора кафедры истории Греции и Рима С. А. Жебелева, потом стал самым молодым преподавателем этой кафедры и незаметно превратился в динозавра – сейчас, хотя мне трудно в это поверить, я старше всех здесь присутствующих. Так получилось, что я стал очень старым, даже неприлично старым, но зато я действительно был свидетелем таких событий и обстоятельств, о которых многие сейчас забыли, а молодое поколение просто совсем не знает.

Вот вчера, например, готовясь к сегодняшнему выступлению, взял я книгу И. И. Толстого «Статьи о фольклоре» и перечел вошедшую туда некогда любимую мной небольшую работу об аздах.<sup>2</sup> (В одной из моих книг рассказ «Песня азда» является в какой-то степени популяризацией этой работы и тех лекций, которые я когда-то слушал у Ивана Ивановича). Перечел – и, страшно сказать, испугался. Испугался того, что нынешнее поколение не поймет и не примет некоторых мест этой книги. Дело не в трудностях предмета, а в том, что отдельные выражения звучат сейчас как-то удивительно: наука называется не просто «наука», а «лженаука» или «буржуазная наука»; религия именуется «классовым проявлением» – а ведь Иван Иванович был человеком, в общем, не чуждым религии. И я подумал: неужели же люди будут судить об этом человеке по отдельным фразам, которые можно вытянуть из

---

<sup>1</sup> С этими воспоминаниями М. Н. Ботвинник выступил на ежегодных толстовских чтениях на кафедре классической филологии Петербургского университета в ноябре 1993 г.

<sup>2</sup> Толстой И. И. Античные творцы и носители древнего эпоса. В кн.: Статьи о фольклоре. М.–Л., Наука, 1966 г.



его сочинений? Это было бы несправедливо – И. И. Толстой прожил достойную жизнь в очень трудных обстоятельствах. И свои воспоминания я, пожалуй, начну именно с этих обстоятельств, а о самом Иване Ивановиче чуть позже.

Когда я учился в школе, история как предмет была отменена: вместо нее было обществоведение. Изучали историю мы примерно так: от Степана Разина до Пугачева, от Пугачева к декабристам. Царей никаких не было. Помню, как на одном из первых экзаменов по русской истории уже в Университете профессор, желая мне помочь, задал наводящий вопрос: кто был раньше – Петр Первый (слово «Первый» он подчеркнул) или Екатерина Вторая? Я ответил, что Екатерина Вторая была раньше.

Как-то я выступал на юбилее профессора С. И. Ковалева, который в мои студенческие годы читал у нас древнюю историю, и благодарил его за то, что он научил нас хотя бы тому, кто такой был Александр Македонский. Раньше мы знали о нем только из гоголевского «Ревизора»: «Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» Я пришел на первую лекцию С. И. Ковалева – он рассказывал о Солоне – и просидел два часа, думая, что речь идет о царе Соломоне: про Солона я тогда ничего не знал. Такое было время. Мы сейчас часто говорим о падении культуры, о слабости наших познаний, а ведь нынешний уровень с тогдашним и сравнить нельзя, он намного выше. Это дает какую-то надежду на будущее. Я вспоминаю свой курс – первый курс истфака. Со мною вместе учились взрослые дяди, которые, заинтересовавшись историей, пришли по путевкам с производства. Мне было семнадцать, а парторгу нашей студенческой группы – тридцать пять, и в перерыве, взяв профессора Ковалева за пуговицу, он, искренне желая ему помочь, говорил: «Ну что вы рассказываете о какой-то войне между спартанцами и афинянами, когда все знают, что это одно и то же? Не могут же воевать греки с греками!»

В начале тридцатых годов, когда я поступил на исторический факультет, рядом с ним располагался филологический. И там дела обстояли не лучше: там было засилье марровского учения. Мы хорошо помним, как вмешательство Сталина в 1950 году прекратило это засилье. Сталин, со свойствен-

ным ему умением ловко использовать ходкое словцо, назвал марризм арацкеевским режимом в науке.

И действительно, это была арацкеевщина. Марровское учение насаждалось повсеместно. Кое-что усвоил и я. Всегда считалось, что на евразийском материке существовало множество различных языков, и со временем мелкие наречия сливались в более крупные языковые группы – индоевропейских, семитических, кавказских языков. Языковая пирамида постепенно сужалась. Фантасты, которые всегда были в России и составляли ее гордость, говорили, что разные языки в конце концов сольются в единый мировой язык человечества. Процесс пытались ускорить: варшавский ученый, доктор Заменгоф, придумал этот мировой язык (на основе латыни) и назвал его языком надежды – эсперанто. Марр же перевернул языковую пирамиду и поставил ее на острие. Он утверждал, что вначале существовал единый язык, а потом, по мере расселения человечества, языки стали делиться – сперва на крупные, потом на более мелкие группы. Марр усматривал черты сходства между грузинской и семитической группами и присвоил этой объединенной группе имя яфетической; его «новое учение о языке» получило название яфетидологии.

Студенты отнеслись к делу весело и сочинили не совсем приличные стихи: «Яфети-фети-фети, дальше некуда идти» (вариант для дам). Относительно основных четырех элементов, из которых, по теории Марра, произошли все языки (*сал, бер, ион, рош*), студенты говорили: «Сал, бер, ион, рош – ничего не поймешь». А понимать надо было – особенно профессорам. И вот они приходили на лекции Марра, садились на первые скамейки и старательно записывали новые истины «самого передового учения о языке». Кстати, сам Марр утверждал, что праязык произошел из кинетического языка обезьян, который он хотел изучить. С этой целью он отправился в командировку, но доехал только до южного берега Франции, а дальше визы не получил, так что изучить обезьяний язык ему не удалось...

Вообще Марр был фигура далеко не простая. Он был известный ученый, избран в академики еще до революции, некоторые его положения были признаны в мировой лингвист-

тике. Однако Марр, как и Лысенко, все расширял и расширял до бесконечности свои теории. Они распространились на археологию, которая была объявлена лженаукой и заменена историей материальной культуры. Бывший Институт Языкознания стал Институтом Языка и Мышления, а Археологический Институт был преобразован в Академию Материальной Культуры (Акматкульт). Злые языки называли это учреждение, возглавляемое Марром, «Акмарркультом». Акматкульт занимал помещение Мраморного Дворца и получал от государства большие средства. Для сталинского времени было очень важно, что учение Марра – самое передовое в мире, а стало быть, единственно возможное. Проявлялась невероятная нетерпимость к любой попытке высказать какие-либо иные взгляды, вспомнить о языковых корреспонденциях, упоминать об общности европейских языков и т. д.

Ученым старой школы было невыносимо трудно существовать в этих условиях. Время от времени, как впоследствии против Лысенко, раздавался отчаянный писк протеста. В «Вечерней Красной газете» однажды появился фельетон «Барахло». «Мы интересовались, писали авторы фельетона, откуда взялось слово «портфель». Буржуазная лженаука придумала, что из французского «*porter*» (носить) и «*feuille*» (лист), то есть «сумка для бумаг» (буквально «листов»). Но это совершенно неверно! Наш великий ученый показал, что корень «порт» существует во всех языках и, трансформируясь, по-русски дает «бар». Что касается «фель», то это общечеловеческий корень «хло». Таким образом «портфель» – это по-настоящему «барахло», и этим словом мы закончим наш фельетон». Все прочли, посмеялись, а потом была лекция Марра. И вот на первой скамейке сидят Мещанинов, Струве, Толстой; входит Марр, швыряет эту газету и говорит: «Вы думаете – вы со мной рассчитались? Я не для вас читаю, а для тех, кто сидит наверху, и они меня понимают, а вы только смеяться можете».

Я рассказал об обстановке тех лет, а теперь мои впечатления об Иване Ивановиче Толстом.

Когда я был школьником последнего класса, вся страна увлекалась физикой и молодежь поступала в технические вузы. Дома мои намерения поступить на гуманитарный факуль-

тет встречали резкую оппозицию: «Все ему нужно по-своему, не как у людей. Люди идут учиться ремеслу, время такое – надо иметь возможность заработать рубль. Какая там филология, какая история!» – говорили родители. И вот на афише Лектория, который тогда открылся на Литейном, я увидел объявление: «Илиада» Гомера. Читает И. И. Толстой.» Я пошел на эту лекцию, хотя «Илиаду» любил меньше «Одиссеи», которую еще в детстве мне прочитал отец – разумеется в русском переводе. В самой лекции я мало что понял; в полупустом зале люди переговаривались, слушали без особого интереса, и в конце концов Иван Иванович сказал – но как-то необидно: «Я ведь не настаиваю, я понимаю – один любит апельсин, а другой свиной хрящик». Это мне надолго запомнилось.

После школы я поступил в Политехнический Институт – выдержал тяжелый конкурс, но не выдержал ученья и в середине года перешел на Истфак. На первом курсе античной литературы не было – были только лекции по истории античности С. И. Ковалева, о котором я уже говорил. На второй год был объявлен курс античной литературы – читает И. И. Толстой. Я спросил о нем у родителей. Отец сказал: «Да нет, никакого отношения он к этому лжеграфу не имеет» (так называли тогда очень процветавшего Алексея Николаевича Толстого). И добавил, что Иван Иванович не потомок и двух других великих Толстых – Льва Николаевича и Алексея Константиновича. Тем не менее Иван Иванович происходил действительно из родовитого дворянства. Его отец был также Иван Иванович – у них в роду было твердое правило: старшего сына называть Иваном. Иван Иванович старший был знаменитый по тому времени русский археолог, собиратель и издатель русских древностей, пользовался большим уважением историков Древней Руси. Он занимал высокие посты, был, например, петербургским городским головой. В начале века он был вице-президентом Академии Художеств и в здании Академии устроил выставку Валентина Серова. На этой выставке был, в частности, портрет весьма родовитой Орловой-Чесменской – и вместе с тем портрет танцовщицы Иды Рубинштейн, где она представлена обнаженной. Надеюсь, многие помнят эту необычную угловатую красавицу.

Портрет вызвал у публики скандальный интерес. Орлова, которая была при дворе, обратилась прямо к Николаю Второму: «Я благородная женщина и не желаю висеть рядом с голдой жидовкой». Николай, говорят, спросил Ивана Ивановича: «Нельзя ли убрать портрет Рубинштейн? Было бы хорошо, чтобы она ушла». Иван Иванович ответил решительно – даже для того времени, когда с начальством не очень считались: «Конечно, уйдем – и уйдем вместе, она и я».

Шла русско-японская война, 17 октября 1905 года был объявлен манифест. В это время Ивану Ивановичу старшему был предложен пост министра просвещения. Одним из первых его мероприятий на этом посту была фактическая отмена процентной нормы для евреев при поступлении в высшие учебные заведения. У еврейских юношей появилась надежда, что теперь они будут приравнены ко всем остальным и будут пользоваться теми же правами, что и все. Но весна в Петербурге, как вы знаете, длится недолго. Процентная норма была восстановлена, Иван Иванович ушел в отставку. Он возглавлял Министерство только с ноября 1905 по апрель 1906 г.

Я рассказал об отце, а теперь перейдем к сыну. Это был тоже необычный человек. В роду Толстых старший сын должен был идти в гвардию, если он был физически здоров и не испытывал отвращения к кровопролитию, или в дипломаты – в министерство иностранных дел. Должность в посольстве одной из европейских стран полагалась Толстому по праву рождения. Наконец, последнее, где прилично было учиться, – это юридический факультет университета или училище правоведения. Историко-филологический факультет для представителя столь именитого рода все-таки не подходил. Тем не менее Иван Иванович выбрал именно его. Он кончил Университет, и более того, туда же поступил на службу. В 1902 году он уже был приват-доцентом.

Тут следует сказать несколько слов о самом факультете. Тогда не существовало деления на историков античности и филологов-классиков. Было три отделения: историки изучали русскую и западную историю, филологи – литературу и языки, а на классическом отделении в равной степени занимались древними языками и историей Греции и Рима. Ведь

классический филолог немислим без хорошего знания реаллий, истории, а историк-античник, который хочет заниматься своим предметом, без знания древних языков просто инвалид, тяжелый инвалид. Профессурой классического отделения Петербургского Университета тех лет мог бы гордиться любой европейский университет.

Назовем несколько имен. Фаддей Францевич Зелинский – ученый с мировой славой – занимался литературой, мифологией, историей религий, психологией; его работы касались всего – быта древних, новонайденных музыкальных отрывков, происхождения трагедии. Михаил Иванович Ростовцев, российский академик, после революции эмигрировал и вынужден был преподавать за границей русскую историю, так как специалисты по античности на Западе имелись в избытке. Однако по прошествии нескольких лет они должны были потесниться: оказалось, что Ростовцев – это звезда первой величины в мировом масштабе; и до сих пор он остается непревзойденным во многих отношениях. Сергей Александрович Жебелев – единственный из этой блестящей плеяды, кто дожил в России до второй мировой войны, – был непосредственным учителем И. И. Толстого. Как и Жебелев, Иван Иванович в какой-то степени занимался эпиграфикой, однако ему были ближе мифология и фольклор. Интерес к этим предметам у него, как и у моего учителя С. Я. Лурье, пробудил Ф. Ф. Зелинский, который обладал талантом увлекать студентов. Считалось, что по-гречески Фаддей Францевич говорил лучше, чем по-латыни. Трудно поверить, что можно так красиво читать лекции на древнегреческом языке. Рассказывают, будто однажды в 1920 году, когда Зелинский пришел в университетскую аудиторию, он обратил внимание на огромное пятно на потолке и произнес целую речь о разрухе, охватившей страну. Было ясно, что это не подготовленная речь, а экспромт. Такой уровень знаний древних языков вряд ли когда-нибудь будет достигнут вновь – во всяком случае сейчас он кажется недостижимым и для европейских, и для американских университетов, о научном уровне которых мы наконец можем составить представление.

Итак, Иван Иванович был приват-доцентом историко-филологического факультета. Разница между нынешним доцен-

том и приват-доцентом примерно та же, что между государем и милостивым государем. Приват-доцент не получал оклад жалования, но записавшиеся на его курс студенты вносили в кассу по одному рублю, и эта плата причиталась приват-доценту. Например, такой модный в то время молодой приват-доцент, как Евгений Викторович Тарле, специалист по новой истории, яркий и талантливый, собирал аудиторию в несколько сот человек. Студенческие взносы, скажем, шестьсот рублей – делили помесечно, и получалось в месяц рублей шестьдесят. А Ивана Ивановича слушали только будущие специалисты по античности – шесть-восемь человек, и заработанные таким образом несколько рублей Иван Иванович получал раз в год и, как рассказывали, отдавал швейцару, принимавшему у него шубу. Он мог себе позволить работать на таких началах, поскольку был из состоятельной семьи.

Как Иван Иванович пережил годы гражданской войны, мне неизвестно, но он оставался преподавателем Университета. Название факультета много раз менялось: то это был факультет общественных наук (ФОН), то ЛИФЛИ, то еще что-то. Все это время Иван Иванович совершенствовал технику преподавания. Преподаватель он был изумительный. С первой же университетской лекции он меня буквально пленил – пленил артистичностью, красотой речи, увлеченностью. Три раза я слушал его курс греческой литературы, и каждый раз это было что-то совершенно новое. Трудно было предугадать, до какого периода или автора он успеет дойти. Вообще говоря, программа у него была, были деканаты, контролеры, которые требовали, чтобы курс был дочитан хотя бы до эпохи эллинизма. Но... В самый первый год, когда Иван Иванович еще опасался проверок, он довел свой курс до Аристофана, но на Аристофана времени уже не хватило. На следующий год он вообще нырнул в Гомера – и вот уже май месяц, и курс кончился. На третий год он увлекся фольклором и рассказывал нам белозерские сказки, записанные со слов различных сказителей. Каждая лекция была наполнена мыслью. Этот курс я слушал у него на истфаке: на филфаке до войны он его не читал, и поэтому студенты-филологи бежали слушать Толстого на истфак. Например, со мной рядом на лекциях сиде-

ли Ирина Владимировна Феленковская, Софья Викторовна Полякова. Я думаю на филфаке он не читал этот курс не случайно. Он сам рассказывал мне, что должен был читать на своей кафедре классической филологии курс истории древнегреческого языка, а тогдашняя заведующая кафедрой, О. М. Фрейденберг, сказала: «Вы, знаете ли, идете к Марру, но все еще не дошли. У нас есть наш аспирант, Яковиди – он и будет читать, вы уж ему уступите». Иван Иванович уступил. Ясно, что он работал не в такой уж радужной обстановке, как можно подумать теперь. Вместе с тем у него был кружок близких ему учеников и учителей. У меня в руках очень редкий сборник, вышедший в Ленинграде в 1928 году и подготовленный годом раньше. Он носит название «АСПАС-МОС» и посвящен двадцатипятилетию со дня публикации первой статьи Ивана Ивановича (1902). Ученики и друзья хотели, чтобы их дар «напоминал Ивану Ивановичу о том, как они его любят и ценят». В сборнике участвовали А. В. Болдырев, А. И. Доватур, А. Н. Егунов, С. А. Жебелев, С. Я. Лурье, Я. М. Боровский и другие, всего четырнадцать статей. Сборник вышел небольшим тиражом – 255 экземпляров – с портретом Ивана Ивановича на вклейке. На портрете он с сильной проседью, а мне он запомнился черноволосым, со светлой кожей, неожиданно цыганистого типа. Говорили даже, что отец Ивана Ивановича женился на цыганке из табора, но не знаю, насколько это достоверно.

Трое участников сборника – Александр Болдырев, Аристид Доватур и Андрей Егунов – вместе с Андреем Миханковым, чьи приветственные греческие стихи открывают сборник, входили в группу молодых филологов, печатавшихся под коллективным псевдонимом АБДЕМ (анаграмма, составленная из первой буквы имен всех четверых и начальных букв их фамилий в алфавитном порядке). Позднее к ним присоединился Э. Визель. Они собирались у кого-нибудь на квартире после службы (все в это тяжелое время конца нэпа работали в разных местах, в основном, не по специальности) и переводили и готовили к изданию древнегреческие романы. Им удалось издать Ахилла Татия («Левкиппа и Клитофонт») и Гелиодора («Эфиопика»), затем они взялись за Филострата («Жизнь Аполлония Тианского»). Старшим среди них был



А. Н. Егунов. Исключительной, болезненной талантливостью отличался А. Н. Миханков – это я знаю со слов С. Я. Лурье. По его свидетельству, Миханков знал греческий язык и античных авторов как мало кто. Сравниться с ним мог разве только Я. М. Боровский, который свободно писал греческие и латинские стихи. Миханков, психически явно нездоровый человек, состоял во многих кружках и за членство в одном из них был арестован. В его бумагах был найден совершенно фантастический список кабинета министров будущей возрожденной российской монархии. В этом списке Миханков роздал своим знакомым все правительственные посты, а И. И. Толстого предложил на должность «церемониймейстера двора Его Императорского Величества». Позже А. В. Болдырев и А. Н. Егунов были арестованы. В 1935 году А. И. Доватур был выслан из Ленинграда в Саратов. Во время ареста на допросах его спрашивали об АБДЕМе, называя этот кружок антисоветской организацией. В своем списке Миханков, как рассказывал Аристид Иванович, назначил его не то митрополитом Петербургским, не то архимандритом, и бессмысленность назначения на высокую духовную должность человека заведомо не духовного звания была очевидна даже следователю.

В связи со списком Миханкова пострадал и Иван Иванович. Его арест в 1928 году длился, правда, совсем недолго. Говорили, что спас его Н. Я. Марр. Мещанинов как-то сумел объяснить Марру, что назначение министром двора вежливого, воспитанного, и, конечно, знавшего этикет бывшего графа Толстого произошло явно без его ведома и согласия, и Марр вступился за него. Марр был в те годы «главученым». Что это такое – поймут те, кто знаком с положением в биологической науке в пятидесятые годы. Главученый – это тот, кто распоряжается *всем*. Ивана Ивановича освободили.

Интересно, что И. И. Толстой, который не только не скрывал своего аристократического происхождения, но своим изысканным поведением даже его подчеркивал, был в то же время глубоко демократичным человеком. Я еще студентом раз или два был у него дома, и когда я уходил, он становился на цыпочки – я все-таки много выше его ростом – и держал мне пальто. В то время не было принято подавать кому-либо

пальто, это считалось лакейством, а тут как-никак граф подает пальто мне, мальчишке! Но отбиться было невозможно. Иван Иванович был человек абсолютно вежливый и абсолютно демократичный: он говорил одинаково со студентами и со всесильным Марром, и это поражало.

Чтобы прокормить двоих детей, Иван Иванович работал в нескольких местах – тогда разрешено было совместительство, и говорили не «ставки», а «пайки», осталось такое выражение со времен гражданской войны. Иван Иванович работал на нескольких «пайках», а его жена, София Венедиктовна Меликова-Толстая, имея двоих детей, успевала работать только на двух. Она была также классик, училась в Берлине у Вилламовица и знала греческий, по словам Ивана Ивановича, лучше его самого. София Венедиктовна преподавала в Университете и работала в Библиотеке Академии Наук. В группе, где я учился, она стала преподавать латынь вместо высланного весной 1935 года А. И. Доватура, нашего любимого учителя. Помню, как мы всей группой пошли на вокзал провожать Аристиды Ивановича – в Саратове, в ссылке, он какое-то время продолжал преподавать, а затем там же был арестован и получил десять лет.

Уроки Софии Венедиктовны были моим третьим соприкосновением с семейством Толстых. Вести латынь в группах взрослых, даже, как мне тогда казалось, пожилых тридцатилетних людей, учившихся тогда на истфаке, было не просто, тем более, что София Венедиктовна теряла слух. На занятиях – может быть, потому, что я был моложе всех в группе (мне было семнадцать лет) – София Венедиктовна в основном обращалась ко мне и смотрела на меня своими удивительно красивыми грустными армянскими глазами, словно предвидя мою будущую судьбу, да и свою тоже. У нее было очень красивое и строгое лицо. Обладая исключительной честностью, она решила, что преподавать из-за глухоты больше не сможет. Таким образом, это был ее последний год в Университете, и она перешла в кабинет классических языков Института Языка и Мышления имени академика Марра, где сидела по восемь часов в день и добросовестно работала. Дети получили такое воспитание, что младший – Ваня – пошел в ополчение, как только началась война с Германией, и

сразу погиб на фронте. Это, конечно, подорвало здоровье родителей – у них как-то не стало сил жить. Затем страшная эвакуация, смерть Софии Венедиктовны в Казани. А после войны Иван Иванович оказался неожиданно осыпан милостями: в 1946 году его избрали в академики. Нагрузка на кафедре стала меньше, хотя я помню один курс мифологии, который Иван Иванович читал на истфаке при переполненном зале, как всегда очень артистично. Но в эти годы стала заметна какая-то его заброшенность. Было видно, что он поскущел, и что последние годы были для него тяжелыми. Очевидно, что после многих «лет безвременья» (по выражению Жебелева) самым главным для него стала его семья, а ее на две трети он потерял.

Может быть, я не прав – он все-таки радовался своим ученикам, интересовался наукой, всем старался помочь с удивительной благожелательностью. Поражала его беспредельная терпимость. Один из учеников Ивана Ивановича, а мой учитель, Андрей Николаевич Егунов, добродушно посмеиваясь, пародировал эту аристократическую терпимость, изображая, как Иван Иванович, стоя под проливным дождем, спрашивает у своего спутника: «Плохая погода, а Вы как думаете?» Он никогда не навязывал своего мнения. Тогда мне казалось, что это неправильно: почему он не спорит с людьми, которые стоят на заведомо противоположных позициях? Теперь я думаю, что этой неизменной терпимости и благожелательности можно только позавидовать, особенно в наше время, когда люди так нетерпимы, так стараются навязать свое мнение. Каждый считает, что его точка зрения единственно правильная, и ее надлежит внушить всем вокруг. А вот очень хороший человек Иван Иванович Толстой старался этого не делать, следуя пушкинскому совету «не оспаривать глупца».

## ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ

Старым людям начинает казаться, что во времена их молодости все было много лучше: снег был белее, вода вкуснее, люди добрее... Таким старым человеком был после войны всесильный диктатор России – Иосиф Виссарионович Сталин. Его уже не радовали ни печатавшиеся в «Правде» потоки приветствий, ни то, что его именовали «величайшим ученым всех времен и народов», не радовала даже возможность потешить свою подогреваемую подозрительностью жестокость. Старость подходила все ближе. Оставалась лишь слабая надежда, что ощущение молодости может вернуться, если все вокруг примет те самые формы, которые окружали его когда-то. Так началась не получившая завершения череда послевоенных реформ.

Первые шаги были предприняты еще до окончания войны. Были введены погоны, офицерские звания, институт денщиков, награждение орденами и медалями за выслугу лет... Возникло стремление вырядить всех в форму. Как только развитие производства и поток трофейной мануфактуры позволили, в форму были одеты школьники, студенты, у геологов и финансовых работников форма украшалась погончиками. Милицейская форма, которая раньше мало отличалась от формы красноармейцев того времени – те же длинные шинели и шапки-буденновки, изменилась и стала похожа на обмундирование городских царского времени...

После реформы всеобщего образования мальчики и девочки, учившиеся вместе с первых лет революции, вновь были разделены: возникли мужские и женские школы. (По мнению некоторых, это разделение должно было способствовать ранним женитьбам и скорейшему пополнению народонаселения, в чем так нуждалась Россия после войны).

Некоторую пользу мог бы принести другой ностальгический проект Сталина, который начал осуществляться в 1948 году. Учившийся в духовной семинарии Сталин помнил, что там – как и во многих российских гимназиях – преподавались древние языки, в частности латынь, и велел немедленно ввести ее в школьный курс. И вот, покорные любому движению бровей Генералиссимуса министры просвещения – сперва Потемкин, а потом Вознесенский – издают циркуляры о введении латинского языка в программу старших классов в некоторых школах больших городов. Приказ не был как следует продуман, предмет не был обеспечен ни учебниками, ни учителями, но, опасаясь гнева властителя, приказ стали тут же приводить в исполнение.

Один из чиновников Министерства просвещения, А. И. Васнецов, привлек к составлению школьного учебника старого, опытного латиниста С. П. Кондратьева, и они совместно выпустили в 1948 году «Учебник латинского языка для 8–10 классов средней школы». За основу были взяты дореволюционные гимназические и семинаристские учебники Санчурского, Михайловского и других, однако в старые тексты была внесена новая идеология, и они были по возможности политизированы. Переделки выглядели довольно забавно: например, поговорка «Человек человеку волк» (*Homo homini lupus est*) превратилась в «Человек человеку друг, товарищ и брат» (*Homo homini amicus, collega et frater est*). Воинственное римское изречение «Если хочешь мира, готовься к войне» (*Si vis pacem, para bellum*) теперь стало созвучно государственной пропаганде: «Хочешь мира – готовь мир» (*Si vis pacem, para pacem*)... Странный это был учебник, и не случайно он вышел из употребления по окончании сталинского эксперимента. При всех издержках, возобновившийся интерес к классической древности имел и положительные последствия: в Москве начали издавать, впервые после революции, отдельные комментированные книги латинских авторов – Овидия, Тита Ливия, Юлия Цезаря, Цицерона и некоторых других.

Гораздо сложнее, чем издать учебник, было найти людей, способных преподавать латынь. В Московском пединституте открыли классическое отделение, ставившее целью гото-

вить именно латинистов для средней школы, но просуществовало оно очень недолго. Между тем приказ Сталина надо было выполнять: в Ленинграде уже в 1948 году в четырех школах – 189, 203, 216 и 320-й – во всех параллельных восьмых классах была введена латынь.

Кто же были учителя? Классическое отделение филологического факультета ЛГУ в послевоенные годы выпускало по несколько человек, давая им «вторую специальность», так как работы по классической филологии не было. Их, например, посылали в сельские школы преподавать немецкий. После приказа Сталина набор на классическое отделение был резко увеличен – стали принимать от 30 до 50 человек в год. И потом, когда эксперимент закончился провалом, выпускников этих лет, уже никому не нужных, пришлось срочно переориентировать на тот же немецкий или английский язык. Из всех выпускников классического отделения, насколько мне известно, только двое пошли в среднюю школу после введения там латыни. Пошли преподавать латынь и несколько человек, закончивших романское отделение филологического факультета,

Школы для «латинизации» отбирались совершенно произвольно – ни с родителями, ни с учащимися выбор не согласовывался, все зависело от степени покладистости директора. Отделы народного образования решили привлечь к преподаванию латыни старых учителей, в свое время окончивших гимназии. За тридцать лет эти уже очень старые люди успели многое забыть, но в Институте усовершенствования учителей для них были организованы еженедельные занятия, которые вели Я. М. Боровский и А. С. Бобович. Среди первых латинистов был, например, Г. А. Цветков, много лет работавший учителем географии, а затем инспектором РОНО. Преподавал латынь и еще один бывший учитель географии – Шишкин, человек одаренный, увлекавшийся туризмом. Цветков пришел в 203-ю мужскую школу им. Грибоедова, и тут сразу начались трудности и неприятности. Ученики послевоенных лет охотно занимались математикой, физикой и химией – считалось, что нужно иметь техническую специальность, которая будет кормить, а гуманитарные предметы рассматривались как довесок к основным дисциплинам. Как

дети, так и их родители не понимали, за что именно на их класс обрушилось это бедствие в виде латыни, требующей больших усилий и затрат времени. Мальчикам приходилось сидеть в школе больше, чем их сверстникам из соседних школ, да еще выполнять лишние домашние задания. Оценка по латыни в аттестат не вносилась и не давала никаких преимуществ – даже при поступлении в медицинские вузы. И в первый же год работы Цветкова в 203-й школе ученики устроили настоящий бунт. В результате Цветкову пришлось уйти в женскую школу (189-ю), а в 203-й Цветкова сменил я.

Когда я сам учился в школе, оба здания во дворе кинотеатра «Спартак» (бывшей немецкой кирхи) составляли «11-ю единую трудовую школу». Ее первая ступень располагалась в будущей 203-й школе, вторая же – в старинном, почти двухсотлетнем здании дореволюционной немецкой школы св. Анны (Анненшуле). В мое время это была уже не прежняя образцовая школа: наряду с группами (слово «класс» было отменено как буржуазный пережиток), в которых преподавание еще велось по-немецки, были и группы с обычной школьной программой. Помню, что от здания кирхи к старому зданию Анненшуле было протянуто кумачовое полотнище с лозунгом: «Школа вне жизни, вне политики – буржуазная ложь и лицемерие». Под полотнищем, стоя на бочке, юный оратор, почти мальчик, призывал всех «дать отпор, показать всему миру, вышвырнуть на свалку истории» все то, что было принадлежностью старой немецкой школы. Тем не менее воспоминания о школе у меня сохранились самые хорошие.

За прошедшие с тех пор годы школа изменилась до неузнаваемости: светлые классы и чистота остались, но в школе царил жесткая палочная дисциплина. Между учащимися и преподавательским составом шла непрерывная борьба, причем обе стороны несли немалые потери. После того как у меня прошло благополучно несколько уроков, воспитательница 8 «А» класса предупредила меня, что ученики могут устроить обструкцию и чтобы я, как только поднимется шум, посылал старосту за ней, а она уж наведет порядок – сообщит родителям, которые должны заставить детей подчиниться. Так мы и стали действовать: как только начинался шум, староста хватал мальчишку за шиворот и тащил к директору

или к заведующему учебной частью «для вразумления». На третий или четвертый день занятий я заметил, что староста, сидевший на первой парте, уронил голову на руки и урока не слушает. Я подошел к нему, положил руку на плечо, коснулся головы – никакой реакции. Я слегка уперся ему в плечо, и вдруг мальчик свалился на пол. Наклонившись, я с ужасом обнаружил, что он мертвецки пьян. Посылать за начальством было некого, пришлось управляться своими силами...

Вспоминается и другой случай, может быть не характерный, но очень ярко иллюстрирующий обстановку в сталинских мужских школах. На одном из уроков, вызывая ученика, я не смог добиться, чтобы он встал со своего места и пошел к доске, и тогда я поставил ему в журнал двойку. Кто-то с первой парты его об этом оповестил. Мальчишка вскочил, подбежал ко мне и стал кричать, что я не имею права ставить двойку – он просто не слышал вызова к доске. Он попытался вырвать у меня журнал и вступил со мной врукопашную. Я схватил его за шиворот и потащил к директору, у выхода из класса подтолкнул, чтобы придать некоторое ускорение. Мальчик вылетел и при этом выбил стекло в дверях. Класс на мгновение затих. Тут как раз прозвенел звонок. Я спустился к директору (директором был преподаватель биологии Коноплев), рассказал ему, что произошло, и спросил, не следует ли мне прекратить занятия ввиду полной невозможности справиться с дисциплиной. Директор только развел руками: «Это хамы, разве вы не понимаете – это хамы. Вам придется вызвать отца этого мальчика». Я говорю: «А зачем?» «Как зачем? – удивился директор, – Чтобы он заплатил за разбитое стекло!»

Довольно скоро мне стало ясно, что из 203-й школы надо уходить. Там лежала моя трудовая книжка, и уйти я мог только с согласия директора. Директору же, хотя он понимал, что у меня явно ничего не получается, мой уход был не с руки: его сразу же обвинили бы в нарушении приказа вождя насчет латинизации. Уйти из 203-й школы между тем было необходимо: я одновременно имел полную нагрузку в Герценовском институте, где, однако, меня не оформляли, читал древнюю историю в ВПШ и, наконец, преподавал латынь в соседней 189-й женской школе.



Директор согласился бы меня отпустить только в том случае, если бы я нашел себе замену. На мое счастье, в это время оказался без работы один из выпускников классического отделения, способный молодой филолог С. А. Шубик. В глухой деревне Псковской области, куда его направили по распределению, нагрузки для него не было. Он и сам не хотел уезжать и оставлять большую мать, получил освобождение от распределения, но работы в Ленинграде найти не мог. Он был бы рад любой работе, и я познакомил его с директором 203-й школы. Тот еще некоторое время не соглашался на замену, и я вынужден был прибегнуть к особой тактике, может быть, и бессовестной, но совершенно для меня необходимой. Когда я входил в класс и начинал урок, ученики сидели тихо, но как только от объяснений я пытался перейти к опросу, начинался шум, движение. Тогда я немедленно посылал старосту или комсорга за директором. При директоре шум затихал: его боялись, меня – нет. На следующем уроке повторялось то же самое. В конце концов директор понял, что не может являться на каждый мой урок, и сказал: «Давайте договоримся. Можете уходить».

Если бы я после печального опыта в мужской школе сравнил работу в женской с пребыванием в санатории, я, пожалуй, погрешил бы против истины. Это был не просто санаторий, а, как говорили тогда, санаторий «повышенного типа», санаторий – «люкс». В мужской школе учительницы на переменах обсуждали, как лучше наказать провинившегося ученика. Одна хорошенькая барышня с энтузиазмом рассказывала другой, как ловко она подкралась к двум мальчишкам, рассматривавшим на ее уроке неприличные картинки, и так стукнула их лбами, что у обоих вскочили шишки. А в учительской женской школы разговор шел о новых театральных постановках или о внешних данных и манерах девочек. В первые же дни коллеги поинтересовались, какие из восьмиклассниц кажутся мне более привлекательными. Я ответил, что просто не успел их разглядеть – они все в одинаковых платьях и мне кажутся на одно лицо. Воспитательница немедленно послала за девочкой, которая считалась самой красивой в классе. Девочка, вызванная под каким-то пустячным предлогом, была в учительской несколько ми-

нут. Потом меня совершенно серьезно спросили, что я думаю...

Работать там было приятно. Никаких грубых нарушений дисциплины. Уроки делали исправно, объяснения воспринимали отлично. Но... Сейчас даже трудно вообразить, что представляла собою сталинская женская школа. В классе появился сравнительно нестарый преподаватель, и девочки, видевшие противоположный пол только на расстоянии, неожиданно обнаружили в себе задатки институток старого времени. Хихиканье, подталкиванье, смешки продолжались все время, пока они ко мне не привыкли. Однажды в начале урока я увидел, что девочка, сидевшая на первой парте уронила платочек. Я нагнулся и подал ей платок, и этот довольно естественный поступок вызвал в классе невероятно бурную реакцию.

Однако при всех издержках были достигнуты некоторые успехи. За три года (я работал в этой школе с 1948 по 1951 год) удалось выпустить два класса – и удалось заинтересовать учениц не столько латинским языком, сколько культурой древнего мира, прочными нитями связанной с современностью. В отличие от моего предшественника Цветкова, я не требовал заучивания правил языка: мне больше хотелось показать пользу, которую можно извлечь из знания латыни. При этом, конечно, я отчасти грешил против истины: я старался убедить учениц, что от латыни пользы не меньше, а то и больше, чем от более необходимых на первый взгляд уроков английского или немецкого. «Все равно, – говорил я им, – вы не знаете, какой язык вам в жизни понадобится: учите английский, а понадобится французский, учите немецкий, а понадобится английский... Гораздо важнее усвоить основные законы языка, понять этимологию слов, понять те связи, которые существуют между всеми европейскими языками».

Было приятно потом узнать, что многие из моих учениц выбрали гуманитарное образование, и даже те, кто пошел в технические вузы, не жалели о том, что когда-то учились у меня латыни.

## КАМЕРА № 25

Конвойный подходит к решетке, напоминающей решетку зоопарка, за которой сидят хищники и к которой сейчас прижимаюсь я. Тихо хлопает в ладоши и так же тихо произносит: «Тихонечко ложитесь спать!»

Бешеный шум раздается после этих слов. Все бегут, тащат доски, кидают их на пол. Я, впихнутый в камеру, и впрямь попадаю в обстановку зоологического сада. Лица, заросшие бородой, свирепы, движения поспешны.

Буквально через пять минут все доски, точнее – щиты, уложены на асфальтовый пол. Из угла несутся люди с мешками, набитыми соломой. Поперек ставятся скамейки, на них снова щиты, и так в несколько этажей.

Ко мне подходит военный с сорванными нашивками, староста камеры майор Мирончик, берет меня за руку и ведет по узкому проходу к темному окну. Люди уже лежат. Он показывает мне узкую полоску свободного места. Ложусь. Ужасно душно, труха сверху сыплется мне в рот. Я все еще нахожусь в состоянии полуреальности. Лежу и вспоминаю случившееся вчера.

Благополучный мальчик в благополучной семье, студент истфака Ленинградского университета, я с первого курса стал интересоваться древней историей. Забегая вперед, скажу, что дело, по которому я был привлечен, так и называлось: «Дело античного кружка». Следовательно, собственно говоря, в этом нас и обвинял: интерес к древности сам по себе показывает, что мы не приемлем современности!

Вчера я сдавал историю педагогики, экзамен неприятный для меня. Потом до полуночи был в гостях у своей знакомой и вернулся домой после двенадцати. Семья была традиционная, отец очень не любил моих поздних возвращений. Был

он в генеральском чине, военный медик. К тому же тяжело больной, оперировал последний год.

Слегка виноватый, открываю дверь французским ключом, и... тут начинается сказка. Абсолютная сказка.

В передней стоит солдат с винтовкой, тут же подбегает ко мне человек в кожанке, тоже военный, и говорит: «Руки вверх!» Ощупывает карманы. «Оружие есть?»

Вижу бледные лица отца и матери. Идет обыск. Бессмыслица! Взяли всего две книжки: Каутского «О происхождении христианства» и «Русскую историю в самом сжатом очерке» Михаила Николаевича Покровского.

Отец у меня спрашивает: «Ты был в каком-нибудь заговоре?» Я говорю – нет. Мать, юрист по профессии, адвокат, успокаивает: «Будем хлопотать, если ничего не было, выпустят». И напутственно: «Там рассказывай все как было, не запирайся, будь как можно откровеннее».

Ну, я не очень был наивен, все-таки мне было уже двадцать лет, третий курс, но вот с таким материнским напутствием я ушел. И еще чемодан, собранный матерью, взял с собой, хотя уверяли: «Его через неделю выпустят, ничего не надо».

И дома, и по дороге в тюрьму обходились со мной вежливо. До приемного зала Шпалерки. Там началось...

– Разденьтесь догола! Раздвиньте ягодицы! Если что-то прячете, лучше сразу отдайте!

Бессмысленность всего этого ошеломляет.

В приемном зале встретил аспиранта нашей кафедры, тоже арестованного, Георгия Андреевича Стратановского, старше меня лет на десять. Он поздоровался, я не ответил, все в голове перепуталось, я решил соблюдать конспирацию.

Меня сажают в так называемый «собачник» (шкаф в том же приемном зале). Там невозможно ни стоять, ни сидеть, спустив ноги. Присел скрючившись, поджав колени к подбородку. Слышу по голосу: еще одного из нашей группы привели. Всего той ночью арестовали семерых.

«Однodelьцев» рассаживали в разные камеры. Я попал в 25-ю, на третьем этаже. Камера большая, не менее пятидесяти метров. Вместо одной стены – решетка. Когда смотришь

из коридора, за ней черно от людей. Двести пятьдесят человек. Зоопарк.

Теперь и я в этом зоопарке, или, как говорили у нас, «в метро». Лежу, задыхаюсь, дышать нечем. Потом я понял, почему так торопливо люди укладывались спать. Дорожили каждой минутой отдыха: ночью могли поднять на допрос.

Люди ложились головами друг к другу, а ногами к проходу. Дежурный заключенный знал, где кто лежит. Подойдет, скажем, к Иванову, дернет за ногу, и тот выползал. Иногда дежурный ошибался: за одну ногу дернет Иванова, за другую Петрова, выползают сразу двое. И зря разбуженный потом долго не может уснуть, потому что эти негромко сказанные слова – «На допрос» – взвинчивают нервы до предела.

Никогда не забуду эту первую ночь в тюрьме! Я долго мучился, задыхался, сверху то и дело сыпалась труха. Со всем было хотел подняться и стоять всю ночь в проходе. И тут то ли сознание потерял, то ли в сон провалился.

Позже, когда присмотрелся к тюремному быту, поразился организованности людей. Наутро щиты были так же быстро разобраны и сложены по четырем углам, превратившись в столы. Вдоль них – скамейки, на которых вплотную сидят люди. В середине камеры «прогулочная площадка», все ходят по кругу. Совсем как вангоговская «Прогулка заключенных». Ходят, чтобы дать работу мышцам.

И тут появляется китаец. В 38-м году в каждой камере было по два-три китайца. Имена китайские начинаются часто на «Ван», поэтому всех их звали Ванями. Китайцы отличались чистоплотностью, аккуратностью. Это были в основном петербургские прачки. До 38-го года в подвалах многих жилых домов помещались китайские прачечные. Теперь всех этих китайцев объявили японскими шпионами. В тюрьме им поручалась раздача алюминиевых мисок, кружек, ложек. Они всю посуду содержали в большой чистоте и выдавали ее вновь поступившим. На завтрак притаскивали два бачка: один с утренней баландой, другой с кипятком.

В общем, жизнь в камере была на удивление организованна. В значительной степени это определялось составом. Организующим началом были военные.

Кончались военные процессы. Больше года назад прошел процесс Тухачевского, шла дальнейшая «чистка» армии. Снята была вся ее верхушка. На Шпалерке, по-видимому, в одиночной камере, сидел Рокоссовский. А рядом – комдив Рокоссовского генерал Зыбин, бывший до революции кузнецом. Человек бешеной силы, которого, как мне потом рассказывали, даже следователи не смели бить. Однажды следователь попытался – и тогда железные пальцы кузнеца схватили следователя за ухо и оторвали ухо! Что с Зыбиным сделали дальше, никто не знал, его забрали из камеры.

Во многом порядок в камере зависел от старосты. Наш староста вступал в переговоры с дежурным. Больных из камеры переводили, слабых подкармливали, хроников старались устроить поудобнее. Старожилы сами по мере освобождения мест перебирались на более «выгодные»: либо на верхний этаж нар, либо (что было пределом удобств) на прикрепленные к стене попарно парусиновые койки. Туалет у нас был, как говорили, «на одно очко». И тут «аварийных» пропускали вперед. Одним словом, на удивление по-человечески относились друг к другу в этих нечеловеческих условиях.

В каждой камере (больших камер было не менее тридцати) преобладало одно общее настроение. В нашей, например, говорили: можно сопротивляться, но пассивно. Нельзя вступать в драку со следователем, иначе собьют с ног и сделают «футбол», то есть будут избивать сапогами до потери сознания. В камере моего однодельца была другая установка: подписывай все как можно скорей. Отсюда на волю не выходят. Надо все подписать, чтобы не покалечили. А там поедем в лагеря здоровыми. Вон, мол, с Беломорканала зэки возвращались с орденами. И вообще не надо унывать.

Мы перефразировали известную песню Дунаевского:

Молодым в тюрьму у нас дорога,  
Старикам в тюрьме у нас почет.

Я все время силился понять, по какому принципу, за что арестовывают такое количество людей. И зачем?

Из двухсот пятидесяти человек населения камеры две трети, а может, и больше, составляли «националы». Это сейчас кажется, что аресты 37-го года ставили целью снятие верхушки, устранение наиболее ярких, талантливых людей из

интеллигенции. На самом деле, как я думаю, это была плановая очистка города от тех элементов, которые, с точки зрения Сталина и всех властей, могли бы стать опорой оккупантов в приближающейся войне. Это, конечно, не оправдание жестокого террора, но в какой-то степени объяснение, попытка понять цель этой бессмысленной войны со своим народом. Кому была нужна эта война?

Летом 37-го года забирали поляков. По рассказам старых камерников, поляки довольно долго сопротивлялись. По два, по три месяца велось следствие, шли допросы. Я попал в основном с массой латышей. Они, решив, что сопротивление бесполезно, прошли в колоссально быстром темпе.

За те три месяца, что я провел на Шпалерке, сменилось несколько волн националов. Почти одновременно с латышами шли немцы. Запомнился старый часовщик. Он вернулся с допроса веселый и сказал: вот вы говорили, что на допросах избивают, издеваются, что следователи звери. А со мной говорил хороший человек, очень вежливо. Он мне рассказал, что немецкое консульство в Ленинграде – очаг шпионажа и надо выслать немецкого консула. Вы нам поможете, если подпишете, что были завербованы консулом для шпионажа. Ничего вам плохого не будет. Не буду вас обманывать, мы из Ленинграда вас вышлем для вашей же безопасности. Но вы сами назовете место, где бы хотели жить. Я сказал, что в Симферополе. И следователь пообещал.

Немец был доволен. И таких оптимистов, которые не хотели видеть очевидное, было немало – таких, которые упорно думали, что их освободят, оставят в покое и так далее.

При мне был доставлен большой начальник – руководитель профсоюза транспортников (Дорпрофсожа) Карповский. Он только ко мне испытывал доверие как к самому молодому в камере.

– Я вижу, вы мальчик, – говорил он. – Я вас хочу предупредить – ни с кем здесь не разговаривайте, мы находимся среди врагов, зря у нас никого не посадят. Я здесь по ошибке. Вас, школьника, взяли, может быть, из-за родителей. Нас пытать не будут.

Это все он говорил до первого допроса, откуда его притащили волоком и бросили. С тех пор он молчал.

Поразительным днем было 5 февраля 1938 года. В камеры хлынуло невероятное количество айсоров. Это кавказский народ, потомки ассирийцев. Во всем мире они работают чистильщиками сапог, а на Шпалерку попали в качестве иранских шпионов. Были они почти все неграмотны. Эти «шпионы» не могли написать собственной фамилии под протоколом допроса.

Любопытны для меня были участники революционного движения царского времени. Их было немного: например, полковник царской армии, бывший эсер Устинов. Нам с ним однажды выпало вместе дежурить по камере, мыть пол. И он это делал гораздо более умело, чем я.

Эсеры, максималисты, меньшевики. Зубной врач Быковский, очень милый человек. Был один народоволец, фамилии не помню. На него я смотрел, как на святого. Он отсидел двадцать пять лет в Шлиссельбургской крепости еще до революции. При советской власти на первых порах пользовался даже какими-то льготами, но потом был арестован.

Он говорил, что в Шлиссельбурге сидеть было легче, чем здесь, на Шпалерке, в этой ужасной камере. Там была замечательная библиотека. А здесь выдавали две книги на двести пятьдесят человек. При мне это были «Морской волк» Джека Лондона и «Хлеб» Алексея Толстого. «Хлеб» я, естественно, читать не стал, а «Морского волка» прочел.

С интересом приглядывался я к верующим людям. Они удивляли каким-то душевным спокойствием, смирением. Говорили: «Ни один волос без воли Божьей с моей головы не упадет. Конечно, я все подпишу, почему не подписать?»

Поступил вскоре после меня профессор Технологического института, еврей, по фамилии, кажется, Розенцвит. Он до революции, не имея возможности получить образование в России из-за процентной нормы, уехал в США. После революции вернулся. Ему было уже под шестьдесят. Он обратился к старосте с просьбой не определять ему места «в метро» (в самом низу, под нарами), а то он задохнется, у него стенокардия. И его устроили на верхних нарах.

Только улеглись все – вдруг шум. И его голос сверху: «Не могу же я спать рядом с голым китайцем!» Громовой хохот потряс камеру. Расист нашелся!



Кто еще был в нашей камере? Техническая интеллигенция. Ее обвиняли во вредительстве, в диверсиях.

Большую роль в жизни камеры играла интеллигенция гуманитарная. Ее силами в камере читались лекции. Был такой профессор Башинджагян, сын известного художника, основоположника армянской национальной живописи, языковед, замдиректора института Марра, фанатичный приверженец марровской теории. До сих пор помню его блистательные языковедческие лекции, он захватывающе рассказывал о происхождении языка, культуры. Я даже говорить стал с легким армянским акцентом: Леон Георгиевич просто пленил меня!

Был такой еще то ли кинодеятель, то ли режиссер – Леонид Яковлевич Литвак. Он пересказывал содержание многих зарубежных фильмов, которые когда-то видел.

И, наконец, Чертков. Отношения к сподвижнику Льва Толстого он не имел никакого. Преподавал, если не ошибаюсь, русскую историю. Вот на уровне дореволюционного учебника Иловайского он нам и рассказывал об истории нашего отечества.

Надо было отвлечь людей от мрачных мыслей, скрасить им невыносимую тюремную жизнь. В соседней камере бывали концерты. Пел оперные арии Викторин Райский, премьер Мариинского театра. Актеров также немало сидело в тюрьме.

Как ни странно, в камере наиболее близкими мне оказались бывшие партийные работники, хотя ни мои родители, ни я никогда в партии не состояли, я даже и в комсомоле не был.

Прежде всего и они, и я интересовались политикой. Я следил за газетами, и поначалу они меня спрашивали обо всех политических новостях. Только что прошли выборы в Верховный Совет, от Ленинграда выбрали Жданова и Калинина. В душе я подозревал, что выборы были сфальсифицированы, ибо показали полное единодушие – 99 процентов. Я, например, Жданова вычеркнул, даже думал, не потому ли арестовали, но, конечно, помалкивал.

Среди них было немало людей интересных. И убежденных коммунистов. Только в нашей камере сидели три первых секретаря райкомов Ленинграда, один, кажется, Фрун-

зенского, по фамилии Диманис. Он говорил, что родом с Украины. Это был человек, невероятно преданный своей идее. Когда меня вызвали с вещами, Диманис, считая, что я иду на волю, сказал мне: «Я отсюда живым не выйду (он не подписывал протокол), найди в Ленинграде мою жену и скажи ей, что я умер коммунистом».

Интересно, что это имя я встретил не так давно на последней странице «Вечерки», в извещении о смерти старого большевика Диманиса. Значит, он все-таки вышел живым!

Другой был секретарь Лужского райкома Самохвалов. Он тяжело болел чахоткой.

Запомнился член партии еще с дореволюционных времен Николаев. Видимо, он был связан с самой высокой верхушкой. В Ленинграде занимал пост начальника всей полиграфической промышленности. Грех его заключался в том, что он взял на работу сына Томского, лидера правой оппозиции. Сына Томского посадили, Николаева тоже. Старик допросов не выдержал, дал показания, которые из него выколачивали. В результате посадили всех его родных.

Меня до сих пор угнетает одно воспоминание. Всех нас раз в две-три недели водили в баню, группами по двадцать человек, в душевые павильоны. Я однажды замешкался, и Николаев мне бросил что-то вроде: «Мальчик не может сам мыться, маменьку ему подавай». И тут я (как только язык повернулся?) отпарировал: «В отличие от вас я в тюрьму за собой родственников не тащу». Старика перекосило. Мне было потом стыдно, нельзя было этого говорить.

Каждый день поступали новички, по четыре-пять человек, не меньше. Сидели в нашей камере помощник командующего Балтийским флотом Байков, начальник химической промышленности Васько. Про этого Васько я до ареста читал в газете как про вредителя. И там же говорилось, что он расстрелян. Был Васько похож на Тараса Бульбу: квадратная фигура, усищи. Без труда мог своими могучими руками согнуть решетку. Услышав про свой расстрел, смеялся: «Печатают вранье...»

В камере велись бесконечные споры о том, кто во всем происходящем виноват. Николаев твердо заявлял: «Это рука Муссолини». Шепотом говорили о Сталине: «Знает? А если

не знает, какой же он хозяин?» Всем было ясно, что ежовщина не может долго продолжаться. Все это говорилось с оглядкой, считалось, что каждый второй стукач.

Люди, не выдержавшие пыток, давшие ложные показания, терпели жесточайшие муки. Было больно на них смотреть.

Через неделю после меня в камеру поступил Михаил Григорьевич Ярошевский, впоследствии преуспевающий профессор, автор многих монографий и учебников психологии. Его дело было похоже на наше: тоже студенческий кружок из восьми-десяти человек. Руководил им Коля Давиденков, сын известного невропатолога. В кружок входили филолог Люблинский, историк Коля Гольдберг, Тосик Предтеченский, сын профессора нашего факультета, очень милый мальчик, и еще несколько студентов. Обвинение, как и в нашем случае, было дутое: просто эти ребята тоже хотели что-то осмыслить, понять подоплеку нелепых публичных процессов – Тухачевского и Зиновьева.

Ярошевский при первом допросе от показаний отказался. Попросил следователя: «Не бейте в печень, она у меня больная». И его стали бить именно в печень. Началась желчная рвота. И он подписал протокол. Подписали и все остальные.

Давиденкову первоначально удалось уйти от ареста: он заблаговременно уехал в Москву. Однако через два месяца, решив, что можно уже вернуться, дал отцу телеграмму о дате приезда. Его арестовали на вокзале. Он подписал все при первом допросе.

Тогда следователи решили допрашивать всех по новой, предъявив еще одно обвинение: попытку убить Жданова. Всех пытали – и они снова все подписали.

На суд они попали уже после снятия Ежова: стало возможно говорить о вредительстве самого Ежова и его сподвижников. Во время суда они все отказались от своих показаний – и через некоторое время были освобождены! Вышли они в 39-м году. Мы – в 40-м.

Для меня было совершенно очевидно, что на волю я не выйду. Отец был военный врач, вел обширную переписку с заграницей. Больше всего я боялся, чтобы мое дело не легло на него.

Я сопротивлялся, насколько мог. Прошел «конвейер» – это страшная вещь. Меня допрашивали несколько следователей

Кавказ,  
детство



Осень 1937 г.  
Незадолго до ареста.

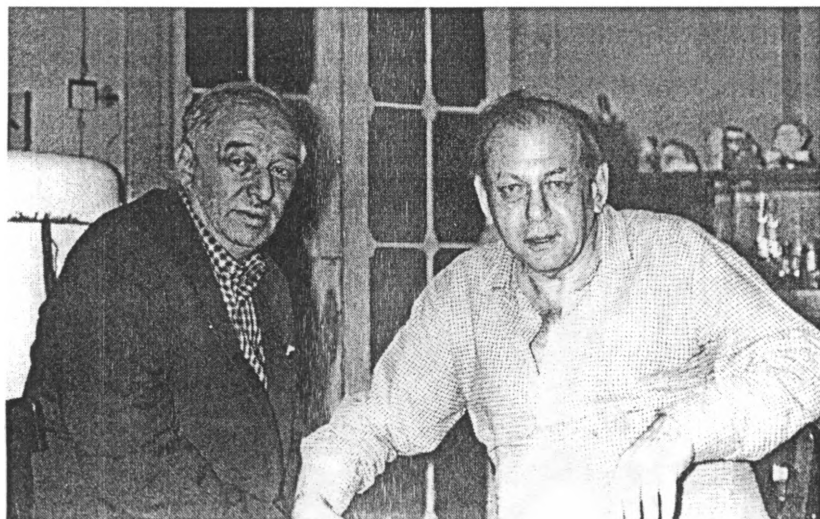


М. Ботвинник и его жена по возвращении из эвакуации



1958 г.

1959 г.

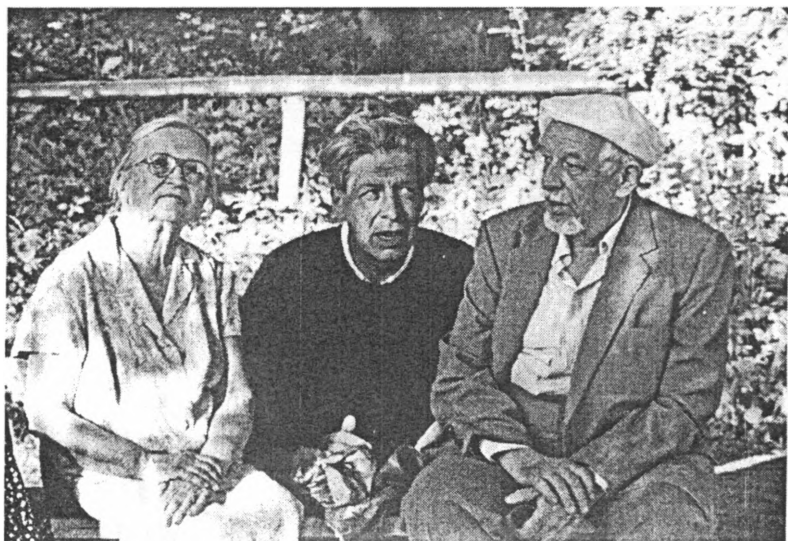


М. Н. Ботвинник и его одноклассник Г. Е. Эдельгауз, 1981 г.



Разговор со слушателями после лекции, 1988 г.

М. Н. Ботвинник с женой и гостем из Германии  
Х. Шерфом, 1993 г.



неделю подряд, не давая передышки. Но сломался я тогда, когда следователь стал вырывать у меня волосы, прядь за прядью. Это меня ошеломило. К тому же все мои однодельцы подписали протокол, и я решил сдаться.

После этого я стал жить в камере спокойно. Понемногу сделался старожилом. Раз в месяц получал, как многие другие, передачу из дома – квитанцию на 25 рублей. Можно было раз в два месяца выписать продукты через ларек. Научился делать «тюремную колбасу»: натирал чесноком верхнюю и нижнюю корочку хлеба. Сделал заплечный мешок, «сидор», из простыни, которую мне дала с собой мать.

В камере существовал железный закон: 10 процентов получаемых денег передавать в «комбед», для тех, кто ничего не получал, на курево и иные нужды. «Комбед» была великая вещь.

И потом коммуны. Мы организовали студенческую коммуну: общая еда, спали рядом, помогали друг другу.

Были и свои традиции. В нашей 25-й камере, по-видимому, в конце 37-го года сидел композитор, довольно популярный в то время, – Поль Марсель Русаков. Родился он в Париже. Этого было достаточно, чтобы он получил свой срок за шпионаж.

Он сочинил приятную мелодию. А стихи написал очень любимый студентами-китаистами преподаватель Васильев.

Когда я попал на Шпалерку, ни того, ни другого в камере уже не было, а песня, гимн, как ее называли, жила.

За решеткой небо голубое,  
Голубое, как твои глаза.  
Сердцу больно. Разве успокоит  
Эту боль вечерняя слеза...

Мы расстались, может быть, навеки,  
Милая, любимая моя.  
В этом поседевшем человеке  
Не узнаешь ты теперь меня.

Как туман предутренний, неверный,  
Разлетелись все мои мечты.  
Но любовь и дружба неизменны,  
И со мною будешь только ты.



Там, за решеткой, жизнь, там, за решеткой, воля,  
Здесь сумрак сводов, сумерки души.  
В вечерние часы, в часы сердечной боли  
Мне видится твой взор в ночной тиши...

\* \* \*

На командировке в Низве, куда нас пригнали уже после того, как я объявился студентом мединститута, было около пятисот-шестисот человек. Медиков остро не хватало, так как не меньше ста заключенных были освобождены от работы и лежали в «больничке». Весь лагерь состоял из пяти или шести огромных палаток, брезент которых был натянут на деревянные остовы. Три-четыре пары столбов держали продольные балки, к которым был прибит брезент крыши. На одном из столбов висел фонарь «летучая мышь», слабо освещавший по ночам внутренность палатки. Вдоль стен тянулись двухэтажные нары. На досках была постелена солома или лежали сеники, рваные и порядком вшивые. Никаких перегородок, отделяющих одного лежащего от другого, не было. Так называемой «вагонки» или хотя бы бортиков, разделяющих сплошные нары на отдельные «ложа», первоначально не делалось. Это был комфорт более позднего времени, когда приток заключенных уменьшился, а «костлявая» сделала свое дело, и санитары вынесли за зону большую часть моих первоначальных товарищей. Пока же лежали мы все вповалку, и, когда поворачивались или сосед во сне отбрасывал руку, она попадала тебе или на грудь, или в лицо.

Одна из таких палаток и была отведена под «больничку». В отличие от остальных, в ней были две поперечные дощатые перегородки. Задняя отделяла от основного помещения небольшое отделение (человек на десять-двадцать), предназначенное для женщин. Нары в этом отделении были продолжением наших, доски, достаточно редкие, давали возможность заглядывать за забор (из-за темноты, правда, да и по другим не менее важным причинам, этим никто не пользовался) и вести разговор с соседками. Передняя перегородка отделяла основное отделение «мужской больницы» от амбулатории. Эта передняя, парадная часть палатки имела, в отличие от «холла», деревянные полы (в больнице пол был зем-

ляной) и обшитые досками стены. Справа была отделена занавеской небольшая комнатка с железной кроватью и столиком, она служила местом ночевки врача, когда он оставался на ночь в больнице (чаще он проживал в бараке итээровцев). Слева вдоль перегородки шел высокий, покрытый марлей прилавок. Здесь стояли лекарства, лежали термометр, несколько простейших инструментов, семилинейная керосиновая лампа, необходимая для вечерних приемов, лежала регистрационная книга. На стене висел шкафчик для более важных лекарств (таких, впрочем, почти никогда не бывало), в углу раковина, а под ней большой таз. Прием в амбулатории вела, обычно после вечернего развода, жена начальника лагпункта Квитина – медсестра Красуля. В ее отношении к заключенным не чувствовалось устойчивой бесчеловечности, характерной для остальных «вольняг». На настоящий медицинский осмотр у фельдшерицы не хватало ни времени, ни умения. Почти единственным поводом для освобождения от работы могла быть высокая температура, но еле волочащие ноги работяги, так называемые «доходяги», радовались хотя бы тому, что их не ругали дармоедами, не обвиняли в желании увильнуть от работы, на приеме им не грозила зуботычина или жалоба начальнику, результатом которой мог быть карцер, лишение пищи или перевод на худшую работу. Очень возможно, фельдшерица сознавала бессмысленность своей деятельности, бесправность (несмотря на близость к начальству) и беспомощность. Она ничего не умела, ничего не могла – разве что положить за три-пять дней до смерти окончательно обессиленного человека в стационар, где пораженный авитаминозом (о чем она не догадывалась), страдающий почти непрерывным профузным поносом заключенный мог лежать, никем не подгоняемый, на нарах, не слыша выкриков торопящего конвоя и щелканья затвора винтовки. Больницу обслуживал заключенный врач – по слухам, в прошлом доцент Днепропетровского мединститута, доктор Юрьев; ему помогали фельдшер – молодой провинциал Морозов, медсестра и один санитар, должность которого была вакантной.

Кроме того, в больничный штат входили дезинфектор и завхоз больницы. При больнице был небольшой сарайчик – больничная кухня и дезокамера – «вошебойка», стоявшая пря-

мо под открытым небом. Согласно правилам, больничная зона должна была, во избежание распространения инфекций, быть отделенной от общей зоны, но на Старой Низве это правило не соблюдалось и проход к больным из общих барачков был для всех открыт.

Когда наш небольшой этап был доставлен на грузовике с пересыльного лагпункта в Ныробе, слух о том, что среди десятка привезенных зэков имеется «лепком»,<sup>1</sup> достиг уже врача Юрьева, и я получил приказ утром явиться в больницу. Узнав от меня, что практических навыков лечения у меня никаких нет, он заметил, что латынь, знанием которой я щеголял, едва ли сможет здесь пригодиться. Короче говоря, он зачислил меня на вакантную должность санитаря, провел в больницу и объяснил мне мои обязанности.

Лагерь, в который нас привезли, возник где-то зимой, на рубеже 37-го и 38-го годов из тбилисского этапа. Огромный эшелон – двадцать или тридцать товарных вагонов, в каждый из которых было набито человек по тридцать-сорок мужчин или женщин, – был доставлен из Грузии на последний, тупиковый пункт Уральской железной дороги – город Соликамск. Оттуда на машинах людей доставили сперва до села Ныроб, а затем провезли еще километров 50-60 вверх по дороге, шедшей по лесу вдоль реки Низвы, притока реки Колвы, на которой стоит Ныроб. Здесь поставили палатки и сразу стали строить «зону» – два ряда колючей проволоки, огораживающих прямоугольную поляну, на которой стояли палатки. Свалили и убрали деревья, стоявшие между палатками, вырубил лес в тех местах, где он подступал к зоне, чтобы не мешал обзору с вышек, поставленных по углам огороженного прямоугольника. Затем приступили к сооружению вахты – небольшого домика, примыкавшего к воротам лагеря, домов для вольнонаемного состава, «кондея» – карцера лагерной тюрьмы, где можно было бы держать проштрафившихся. Палатки не обеспечивали надежности содержания, так как провинившийся (иногда это был убийца или пойманный беглец) мог легко уйти в «зону», приподняв или прорезав палаточный брезент.

---

<sup>1</sup> Лепком – слово из лагерного жаргона: по-видимому, происходит от лепкома (лекарского помощника) и дало жизнь «лепиле».

Этот-то недостроенный еще «кондей» и предоставил нам кров в первую лагерную ночь. Измученные двенадцатичасовым стоянием в набитой людьми полуторатонке и длинной процедурой приема лагерной ВОХРой, мы уже в потемках были подведены комендантом к маленькому домику, сложенному из старых бревен, без окон и дверей, и повалились на пахнущий свежим чистым деревом пол. Нас было человек пятнадцать, среди которых несколько человек обладали кое-каким лагерным опытом. По их словам, нас должны были несколько дней выдержать в этой карантинной зоне, чтобы дать отдохнуть после тюрьмы и этапа, а также чтобы не занесли инфекционных болезней в общие бараки.

Проснувшись утром, мы поняли, что эти порядки отошли в прошлое вместе со всеми остальными «доезовскими» законами, и от опыта старых лагерников нам будет мало проку. Но еще до того, как раздались удары в рельсу и нарядчики побежали по баракам выгонять ээков на работу, к нашему «кондею» подошла группа женщин, среди которых мы, к великому своему удивлению, увидели нашу подельницу Вику Коган. Яркое сибирское утро, холодный, насыщенный хвойным запахом воздух, чистый беленький домик, в котором мы провели ночь, – и группа молодых девочек в ярких домашних платьях, причесанных, умытых, оживленно расспрашивающих, кто откуда привезен, с какими сроками, через какие пересылки. После кошмаров следственной тюрьмы, мрачных сводов пересылок, жуткой тесноты и грязи столыпинского вагона и грузовика картина эта казалась чем-то невероятным, началом новой и, может быть, счастливой жизни.

Вскочив, мы отошли в сторону, и Вика рассказала нам, что лагерь лесоповальный и очень тяжелый. Она приехала сюда почти месяц назад, с большим этапом, который распределили по шести отделениям Усольлага, так что сюда попало только с десятков ленинградских женщин и немногим больше москвичек. Среди землячек – ленинградские учительницы Лишневская и Александровская. Они собирали деньги на посылку своей подруге по институту и обратились к писательнице Агнии Барто, по доносу которой и были арестованы. Обе женщины очень милые, опекают и всячески помогают Вике, делясь с ней привезенными продуктами. Еще они

помогают итальянке Рите Арвале, чудной девушке из Коминтерна, которой не от кого ждать посылок или помощи. Рита была замужем за венгром, одним из самых главных венгерских коммунистов. Но вот Коминтерн разгромили, за Бела Куном последовал и Ритин муж. Наверно, расстрелян, а Рите дали всего пять лет. Она чудесно говорит по-немецки. *Jeder, sagt sie, hat seinen Stern, aber manchmal gehorcht dieser Stern nicht und dann muss man ihn ein bisschen schleppen.*<sup>1</sup> Вот и мы попали, конечно, в переplet, но если будем держаться мужественно, помогать друг другу, то, перемучившись эти несколько лет, вернемся к нормальной жизни и все еще будет хорошо. Сама Вика работает сейчас на сплаве. Работа не тяжелая. Стоят по обоим берегам узкой речки и отталкивают баграми от берега бревна, чтобы их несло течением в большую реку Колву. Там из них (уже в другом лагере) вяжут плоты, а те плывут из Колвы в Вишеру, в Каму, к Соликамску, где на построенном лагерниками комбинате из них делают бумагу. Страшно только, когда образуется затор: надо лезть с багром в холодную воду, и от этого у Вики пошли по всему телу фурункулы. Впрочем, и это к лучшему: ей делают переливание крови, аутогемотерапию, и для этого на сегодня освободили от работы, так что она сможет провести с нами весь день, и мы расскажем друг другу, как шло следствие, что пишут из дому, и она познакомит нас со своими друзьями...

---

<sup>1</sup> У каждого своя звезда, однако время от времени она не слушается, и надо ее чуточку подтолкнуть (нем.).

## СПИСОК ТРУДОВ М. Н. БОТВИННИКА.

Новые работы буржуазных историков об Александре Македонском. // ВДИ, № 1, 1952, стр. 173–179.

*Рец. (совместно с Б. П. Селецким):* L. Homo. Alexandre le Grand, F. Schachermeyr. Alexander der Grosse. Ingenium und Macht. // ВДИ, № 3, 1954, стр. 117–121.

Древняя Греция. Книга для чтения под ред. С. Л. Утченко и Д. П. Каллистова. (*Отдельные очерки*).

1-е изд.: М., Учпедгиз, 1954;

2-е изд., *переработ.*: Л., Учпедгиз, 1958;

3-е изд.: М., Учпедгиз, 1963;

4-е изд., *переработ.*: М., Просвещение, 1974 (Очерки: Песнь аэда (стр. 10–19); Троянский конь (стр. 19–23); Ночной набег (стр. 47–53); Архилох (стр. 59–68); Чума в Афинах (стр. 169–179); Мечта о мире (стр. 179–184).

*Переводы на украинский, китайский, чешский языки.* (3-е изд. Staroveke Recko, Praha, 1973).

Донесение агента императора Максимилиана II аббата Цира о переговорах с А. М. Курбским в 1569 году. (Подготовка текста и перевод с латинского языка). // Археографический ежегодник, XXX, М., 1955, стр. 460–466.

Древний Рим. Книга для чтения под ред. С. Л. Утченко и Д. П. Каллистова. (*Отдельные очерки*).

2-е изд.: *переработ.*: М., Учпедгиз, 1955;

3-е изд., *доп., переработ.*: М., Просвещение, 1969 (Очерки: Триумф (стр. 92–98); Рабство в Риме (стр. 98–107); Спартак (стр. 167–182); В римском сенате (стр. 198–207); Осада Алезии (стр. 223–235).

Хрестоматия по истории древнего мира. Пособие для преп. средн. школы. Под ред. В. В. Струве (подбор материала и комментарии к отдельным разделам). М., Учпедгиз, 1956.

Рец. на книгу: Всемирная история. Гл. ред. Е. М. Жуков. М., Госполитиздат, 1956.// ВДИ, № 3, 1956, стр. 49–62.

Из древнейшей истории Мегар. *В кн.*: Из истории древнего мира, средних веков и нового времени. Ученые записки ЛГУ, серия исторических наук, № 251, вып. 28. Л., Изд-во ЛГУ, 1958, стр. 21–40.

Мифологический словарь. Книга для учителя. (Совместно с М. А. Коганом и др.).

*1-е изд.*: Л., Учпедгиз, 1959;

*2-е изд.*: Л., Учпедгиз, 1961;

*3-е изд., доп.*: М., Просвещение, 1965;

*4-е изд., испр. и переработ.*: М., Просвещение, 1985;

*5-е изд.*: Минск, Университетское, 1989;

*6-е изд., переработ. и доп.*: М., Просвещение, 1994;

Перевод на армянский язык: Ереван, изд. Луйс, 1965.

М. Ю. Герман и др. На семи холмах. Очерки культуры Древнего Рима. Пособие для учителя истории. (*Введение стр. 3–11*).

*1-е изд.*: Л., Учпедгиз, 1961;

*2-е изд.*: М., Просвещение, 1965;

*Перевод на литовский язык*: Ani sepiyniu kalvu. Kaunas, Sviesa, 1969.

В. Скотт. Собрание сочинений в 20 томах. М.–Л., Гослитиздат, 1960–1965 (Перевод цитат с латинского языка).

Знаменитые греки. Жизнеописания Плутарха (совместно с Г. А. Стратановским). Введение и отдельные биографии: Ликург (стр. 13–32), Аристид (стр. 64–78), Перикл (стр. 79–100), Александр (стр. 188–223).

*1-е изд.*: Л., Учпедгиз, 1961.

*2-е изд.*: М., Просвещение, 1968.

История Древнего Мира. Учебное пособие для пед. институтов. Под ред. В. Н. Дьякова и С. И. Ковалева. (*Отдельные главы*). *2-е изд.*: М., 1962.

Эллинские поэты в переводах В. Вересаева. М., Художественная литература, 1963. (*Комментарии совм. с А. И. Зайцевым*).

В. С. Сергеев. История Древней Греции. Изд. 3 (посмертное). М., Изд-во вост. лит., 3-е изд., 1963. (*Участие в подготовке учебника к переизданию*).

Плутарх. Александр (перевод совместно с И. А. Перельмутером). В кн.:

*1-е изд.*: Плутарх. в 3 томах. Том 2, М., Наука, 1963. (Лит. памятники).

*2-е изд. испр. и доп.*: в 2 томах М., Наука, 1994.

Плутарх. Сочинения. М., Художественная литература, 1983.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Владивосток, изд-во Дальневост. ун-та, 1987.

Плутарх. Избранные жизнеописания. Том 2.

*1-е изд.*: М., Изд-во «Правда», 1987.

*2-е изд.*: М., Изд-во «Правда», 1990.

Хрестоматия по истории Древней Греции. (Филохор, фр. 30: Плутарх, Александр 4–5, 7–8). Перевод и комментарии. М., Мысль, 1964.

Путешествие Демокрита. Повесть. (*Совм. с С. Я. Лурье.*)

*1-е изд.*: М., Детская литература, 1964.

*2-е изд.*: М., Изд-во Костик (*в печати*).

Знаменитые римляне. Жизнеописания выдающихся деятелей Древнего Рима, составленные по Плутарху. Биографии: Тиберий Гракх (стр. 85–93), Гай Гракх (стр. 94–103), Гай Юлий Цезарь (стр. 183–211). М., Учпедгиз, 1964.

*Перевод на венгерский язык: Plutarkhosz Híres Rómaiak. Budapest–Uzsgorod, 1967.*

Советская историческая энциклопедия. Том 5. (Статья «Древнегреческая культура»). М., Советская энциклопедия, 1964.

Хрестоматия по истории древней Греции под ред. С. Л. Утченко и Д. П. Каллистова. Введение совм. с Д. П. Каллистовым (стр. 3–16) и составление разделов: Греция в XI–IX вв. до н. э. (стр. 54–78), Древняя Спарта (стр. 118–137), Образование Афинского государства (стр. 138–175), Возникновение державы Александра Македонского (стр. 430–470) и комментариев (стр. 659–685). М., Мысль, 1964.

Александрия. Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV века (*Подготовка издания и комментариев совместно с Я. С. Лурье и О. В. Твороговым*). М.–Л., «Наука», 1965. (Лит. памятники).



Памяти учителя. Некролог С. Я. Лурье (совместно с И. Д. Амусиным, Л. М. Глускиной)// ВДИ, 1965, № 1, стр. 228–230.

*Ред.:* Д. С. Буслович и др. Мифологические, литературные и исторические сюжеты в живописи, скульптуре и шпалерах Эрмитажа. Справочник для посетителей музея.

*1-е изд.:* Л.–М., изд-во «Советский художник», 1966.

*2-е изд., испр.:* *Под названием:* Мифологические сюжеты в произведениях искусства. Л., Аврора, 1972.

*3-е изд., доп.:* Л., Аврора, 1978.

*4-е изд., переработ.:* *Под названием:* Люди. Герои. Боги. Спб., изд-во Зимний сад, 1992.

Исократ. Речь X: Похвала Елене. Речь XI: Бусирис. (*Перевод совм. А. И. Зайцевым*) // ВДИ, 1967, № 1, стр. 217–234.

С. Я. Лурье. Демокрит. (*Подготовка рукописи к изданию*). Л., Наука, 1970.

Троянские сказания. Средневековые рыцарские романы о троянской войне по русским рукописям XVI–XVII вв. (*Комментарии совм. с О. В. Твороговым*). Л., Наука, 1972. (Лит. памятники).

Слабость силы и сила слабости (Афины и Спарта)// Журнал «Клуб и художественная самодеятельность», 1976, № 20, стр. 30–33.

М. Римшнейдер. От Олимпии до Ниневии во времена Гомера. (*Перевод с нем. Л. П. Суздальской при участии М. Н. Ботвинника*). М., «Наука», 1977.

А. Оппенгейм. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. (*Перевод с англ.*)

*1-е изд.:* М., Наука, 1980.

*2-е изд.:* М., Наука, 1990.

Мифы народов мира в 2 томах.

*1-е изд.:* М., Сов. Энциклопедия, т. 1–2, 1980–1982.

*2-е изд.:* М., Сов. Энциклопедия, т. 1–2, 1987–1988.

*3-е изд. под названием:* Мифологический словарь. М., Сов. энциклопедия, 1990.

*4-е изд.:* М., Сов. энциклопедия, 1991.

*Перевод на сербохорватский, венгерский язык.*

Книга для чтения по истории Древнего мира под ред. А. И. Немировского. (*Очерки*) М., Просвещение, 1981.

Э. Пауль. Поддельная богиня. (Перевод с нем. совм. с Л. П. Суздальской). М., Наука, 1982.

История Древнего мира в 3 томах. Под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И. С. Свенцицкой.

2-е изд., испр.: Лекция 14: Греческая культура VII–IV вв. до н. э. (стр. 274–302). М., Гл. ред. вост. лит., 1983.

3-е изд.: Лекция 14: Греческая культура VII–IV вв. до н. э. (стр. 261–288). М., Гл. ред. вост. лит., 1989.

Ф. Шахермайр. Александр Македонский. (перевод с нем. совм. с Б. Функом, послесловие совм. с А. А. Нейхардт).

1-е изд.: М., Наука, 1984.

2-е изд., испр.: М., Наука, 1986.

Библиотека в саду. Писатели античности, средневековья и Возрождения о книге, чтении, библиофильстве. М., Книга, 1985 (перевод совместно с И. А. Перельмутером: Александр. Фрагменты из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха).

Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Книга для учащихся. Очерки: Ликург (стр. 7–17), Аристид (стр. 35–43), Перикл (стр. 43–53), Александр Македонский (стр. 71–89), Тиберий и Гай Гракхи (стр. 125–137), Гай Юлий Цезарь (стр. 159–179), а также в соавторстве: Август (стр. 189–199), Овидий (стр. 199–205), Софокл (стр. 53–61), Фемистокл (стр. 25–35). М., Просвещение, 1987.

2-е изд.: М., Просвещение (в печати).

Плутарх. Застольные беседы. Участие в подготовке издания, перевод с древнегреч.: Изречения спартанцев (стр. 287–330), Древние обычаи спартанцев (стр. 331–335), Изречения спартанских женщин (стр. 336–339) и комментарии. Л., Наука, 1990. (Лит. памятники).

Мифы Древней Греции. Сост. И. С. Яворская.

1-е изд.: Предисловие. Л., Лениздат, 1990.

2-е изд.: Киев, изд-во Муза, 1993.

К истории классического образования в Санкт-Петербурге. В сб.: Классическое наследие и современность. Материалы и тезисы конференции 9–11 дек. 1992 г., СПб., изд-во С-Петербургского университета, 1992.

Знаменитые греки и римляне. 35 биографий выдающихся деятелей Греции и Рима, составленных по Плутарху и дру-

гим древним авторам. *совм. с М. Б. Рабиновичем*). СПб., изд-во Эпоха, 1993.

Демосфен. Речи. В 3 томах. Перевод с древнегреч. и комментарии *совм. с А. И. Зайцевым*. Т. I: Речь 36. «В защиту Формиона»; Т. II: Речь 42. «Против Фениппа...», Речь 45. «Первая речь против Стефана...», Речь 46. «Вторая речь против Стефана...», Речь 47. «Против Эверга и Мнесибула...», Речь 49. «Против Тимофея...», Речь 50. «Против Поликла...», Речь 51. «О венке за триерархию», Речь 52. «Против Каллиппа». М., Памятники исторической мысли, 1994.

Иллюстрированный мифологический словарь. (*Совм. с М. А. Коганом и др.*). СПб., изд-во Северо-запад, 1994.

Камера № 25. В сб.: Уроки гнева и любви. Сборник воспоминаний о годах репрессий (1918 год – 80-е годы). Выпуск 7. СПб., 1994.

Пятьдесят лет спустя.// Нева, СПб., 1995, № 6, стр. 161–168.

В. Йегер. Пайдейя. Перевод с нем. М., изд-во Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина (~~в печати~~) 1997.

Составители: Н. М. Ботвинник, И. П. Суздальская.

## II

# ВОСПОМИНАНИЯ УЧЕНИКОВ И ДРУЗЕЙ



## ВОЛЬНОДУМЕЦ

В конце 1898 года врач-окулист Наум Рафаилович Ботвинник обратился ко Льву Толстому с письмом, в котором спрашивал, как ему воспитывать своего будущего сына. Сам доктор не был верующим, но опасался, что если не внушит сыну основ иудаизма, то станет обманщиком и предателем своего угнетенного народа. Толстой ответил:

«Милостивый государь  
Н<аум> Р<афаилович>»,

Мы несомненно явимся перед нашими детьми злыми обманщиками, все равно принадлежим ли мы к церковно-христианской, какого бы то ни было исповедания, или к еврейской, или к магометанской, или к буддийской вере, и к какой бы мы ни принадлежали народности (угнетающей или угнетенной), если мы передадим нашим детям те верования наших предков о сотворении мира и др<угих> чудесах, потерявших для нас всякий смысл и в кот<орые> мы уже не можем верить, и если, сверх того, передадим им то предпочтительное перед другими своей народности (патриотизм) и своей веры, которое служило и служит до сих пор источником величайших бедствий человечества.

Вы пишете: не будем ли мы виноваты перед своей нацией, если мы, минуя национальность, внушим детям одни общечеловеческие идеалы?

Я думаю, что мы будем страшно виноваты перед своей совестью и Богом, если мы не внушим этого...» (ПСС, т. 70-71, 1352).

Запрос и ответ на него оказались несколько преждевременными. Сыну Наума Рафаиловича предстояло родиться в 1917 году, почти через двадцать лет после этой переписки. Но сама переписка оказалась как бы провиденциальной: Марк

Наумович никогда не переставал чувствовать себя евреем, но ни верований предков, ни идеи предпочтения своей народности не разделял. При всей ироничности и нелюбви к высоким словам, он всю жизнь размышлял над проблемами общечеловеческой истории и морали.

В решении этих вопросов М. Н. шел даже дальше толстовского рационализма, отвергая не только пять доказательств бытия Божия, но и шестое, предложенное Кантом и принятое Толстым. Именно это доказательство имелось в виду в интересной записи, которую М. Н. впоследствии сделал в своей тетради: «Как одно из главных доказательств существования высшей силы приводят обычно соображение, что в человеке изначально заложено... то, что многие называют совестью. Человек действует не в корыстных интересах, а во исполнение некоторых абстрактных правил общественного поведения (доброты, справедливости и т. п.), правил, которые не могли выработаться в процессе индивидуальной борьбы за существование, а должны были быть внушены неким высшим существом – Богом или пророком. Однако это соображение опровергается следующими доводами. Во-первых, даже в животном мире индивидуум часто действует во вред себе – во имя сохранения рода (вида). Этот инстинкт вырабатывается путем наследования случайно приобретенных некоторыми популяциями родительских инстинктов, которые затем распространяются не только на защиту детенышей, но и вообще на защиту слабых и обездоленных (дельфин и пловцы, мулы и жеребята). Кроме того, вероятно, в определенных условиях для выживания популяции бывает нужно воображение, фантазия (хотя бы чтобы подвинуть племя на миграцию). Фантазия дает возможность индивидууму поставить себя на место другого, а это приводит к аберрации, что, творя добро, спасаешь себя».

Мне довольно трудно писать о детских и юношеских годах Марка Ботвинника: мы познакомились лишь в 1937 году, когда он был студентом третьего, а я первого курса исторического факультета. Своей автобиографии (настоящей, а не служебной) он так и не написал, хотя намеревался сделать это в последние годы жизни; придумал даже эпитафию для воспоминаний, взяв его у Маяковского, которого любил:

С хвостом годов  
я становлюсь подобием  
чудовищ  
ископаемо-хвостатых...

Он составил и что-то вроде плана и предисловия к этим воспоминаниям, но в основе их лежал один сюжет, к которому он неизменно возвращался и в мыслях, и в записях: арест в начале 1938 года, тюрьма, следствие и полтора года пребывания в лагере. Он прожил после этого долгую жизнь, умер в 77 лет, и все же эта тема оставалась для него главной, в значительной степени определившей взгляды, характер и отношение к жизни.

Он писал: «Прошло больше пятидесяти лет с моей лагерной одиссеи, а я все боюсь записать мои воспоминания, хотя много раз возвращался к ним в мыслях, повторяя имена, фамилии, отдельные эпизоды. Особенно когда наступает ночь и не спится, «воспоминание безмолвно предо мной свои длинный развивает свиток» отвращение и волнение настолько становятся сильны, что я уже не могу спать и боюсь лишиться не только спокойствия, но и разума. Слишком мало мне было лет, когда я попал в лагерь, слишком гладко текла моя предшествовавшая жизнь и слишком впечатлительной оказалась моя нервная организация. Такие резервы прочности таятся в каждом из нас, что я сумел выйти психически почти неповрежденным из этого ада, учительствовать почти еще столетия, всячески подавляя в себе воспоминания о том времени, отчасти руководствуясь негласным запретом на такого рода воспоминания, а главным образом «боясь их пламенной отравы», считая, что, предавшись им, не смогу заниматься ничем более.

Итак, приступаю: дело наше называлось в Ленинграде «делом молодежной меньшевистской организации» или «делом античного кружка» и включало восемь человек, из которых шесть были историками, специализировавшимися по истории Древней Греции и Рима. Наш «лидер» Макс Гиллельсон, будучи шестнадцатилетним мальчишкой, принятым на математический факультет после окончания семилетки, попал в 1932 году в ссылку, где и познакомился с С. Цедербаумом (братом лидера меньшевиков Л. Мартова). Через полто-



ра года Гиллельсон был прощен, возвращен в Ленинград, но уже не вернулся на математический факультет, откуда его «взяли», – по-видимому, потому, что осужденные вместе с ним лица могли предупредить о его «не совсем корректном поведении». На истфаке же, для таких дураков, как я, он казался жертвой режима и привлекал нас, вчерашних школьников, своим «революционным» прошлым, независимыми суждениями и незаурядными способностями к языкам и гуманитарным наукам. Спросить его, почему он скрывает имена своих товарищей по несчастью, нам не приходило в голову...»

Сохранился и другой набросок начала воспоминаний, где описывалось открытие исторического факультета Университета, куда Марк поступил в 1934 году: «Истфак Университета создавался с большой помпой. Возрождение исторической науки началось с «исторического постановления ЦК о преподавании гражданской истории». Уже этот термин показывал, что инициатива исходила от Сталина, ибо термин «гражданская история» употреблялся только в духовных семинариях, где обычную историю («гражданскую») противопоставляли «священной». Газеты, как всегда, начали шумную кампанию. Роман А. Н. Толстого «Петр I», первые два тома которого были завершены в 1934 году, привлек особое внимание Сталина и послужил поводом к появлению в «Правде» критической статьи против М. Н. Покровского, где читалась знаменитая фраза о том, что Петр был не сифилитик, а великий человек. Молодежь с захватывающим интересом читала вывешенные под тяжелыми сводами на первом этаже Университета программы курсов будущего истфака: история древнего Востока (Египет, Месопотамия, Израиль и Иудея), курс античной истории (Древняя Греция и Рим), средние века, история колониальных и зависимых стран – все это обладало привлекательностью еще не открытых материков. Ведь истории в школе не было, а на уроках обществоведения освещались лишь те исторические темы, которые были связаны с историей классовой борьбы... Едва ли кто-нибудь из вчерашних школьников, если не было какого-либо дополнительного домашнего и книжного влияния, знал о существовании Мервингов или Карла Великого, да и об Александре Македонском могли знать только из гоголевского «Ревизора».

О начале своей студенческой жизни Марк повествовал в отдельных заметках. Его отец и мать были беспартийными, но вполне лояльными по отношению к режиму гражданами, и, когда он выразил намерение вступить в комсомол, полагая, что это необходимо для будущего историка, они «были не в восторге», но не возражали, ибо считали, что «не имеют права разочаровывать его». Но заниматься он все-таки стал не современной, а древней историей. Правда, на первый же экзамен у моего отца, Соломона Яковлевича Лурье, он, как и подобает первокурснику, пришел, выучивши только часть программы и так и не дойдя до Римской империи. Ему достался билет об императоре Тиберии, а он вместо этого рассказал о Тиберии Гракхе, о котором незадолго до этого прочитал в статье своего будущего экзаменатора. В статье была высказана мысль, что текст из Евангелия от Матфея (8, 19) восходит к тому же источнику, что и одинаковое выражение в речи Тиберия Гракха у Плутарха. Мысль эта очень заинтересовала студента, и он рассказал об этом вместо ответа на вопрос об императоре Тиберии. Спустя много лет он спросил у С. Я., почему тот не прогнал его за полнейшее незнание основных фактов истории Рима. «Ну, как же можно, – ответил мой отец. – Ведь вы рассказывали мне вещи, которых не было ни в обязательной, ни в дополнительной литературе. Значит, вы были уже способны заниматься не для экзамена, не для карьеры, а для собственного удовольствия. Что же еще требуется?» Марк стал участником кружка С. Я. Лурье по античной истории, куда вошел и М. И. Гиллельсон.

Я помню встречу нового 1938 года, которая происходила у нас дома. Были Марк и его невеста Ира Суздальская; были его однокурсники. Встреча была довольно веселой. Марк писал впоследствии, что они заранее готовились к Новому году, покупали вино и фрукты, но Гиллельсон не участвовал в этих приготовлениях; он был в чрезвычайно нервном, почти истерическом состоянии. Накануне Нового года Марку позвонила Вика, невеста Гиллельсона, вызвала его на улицу и сообщила, что Макс арестован. Она заявила даже, что намерена уйти из Университета и поехать с Максом Гиллельсоном в ссылку (она предполагала, что его опять сошлют). Марк посоветовал ей не торопиться и узнать сперва, что будет с

Максом; в новогоднюю ночь Марк и остальные выпили за его здоровье.

Только потом, в ходе следствия, на этапе и в лагере, выяснились обстоятельства, предшествовавшие этому делу. После первой ссылки Гиллельсон стал осведомителем, ему угрожали, и в страхе перед арестом он согласился показать, что «завербовал» в «меньшевистскую организацию» почти всех своих знакомых, товарищей по античному кружку, невесту, троюродного брата Г. Эдельгауза, своего одноклассника Олега Левицкого и еще нескольких. Самого Гиллельсона от ареста это не избавило; кроме него, было арестовано семь человек.

О дальнейшем, о своем аресте 15 января 1938 года и о первой камере, М. Н. Ботвинник написал в очерке «Камера № 25».

В записях Марка сохранилось и краткое описание следственной процедуры. Прежде всего ему предложили подписать уже напечатанный на машинке «протокол собственных показаний». Он отказался – и в силу вступил так называемый «конвейер», когда на одного допрашиваемого приходилось три следователя, которые сменялись через каждые 8-10 часов, а допрашиваемый оставался на месте: «Я должен был стоять и не смел не только сесть, но даже прислониться к стене. Если я менял положение, чтобы облегчить боль в распухших ногах, меня били. Если я падал или садился на пол, они били меня сапогами – это называлось на их языке «играть в футбол». Через несколько дней допроса я не мог надеть ботинки и приходил в камеру босой или в галошах». Он запомнил имена следователей – Колодяжный, Смирнов, Бояркин.

Колодяжный пытался стравить между собой подследственных: аспиранта Г. А. Стратановского, арестованного по тому же делу, спрашивал, как он мог связаться с евреями, а студентов-евреев, что у них могло быть общего с дворянином Стратановским. «Подпишешь – отдохнешь в камере», – говорил он во время «конвейера». Смирнов действовал криком и оплеухами. Но наиболее изобретательным оказался Бояркин, судя по виду – наркоман. «Стоишь здесь, Софья Перовская, мать твою...» – сказал он, впервые увидев Марка.

Он заставил его «стоять раком» – на четвереньках, опустив руки, вырывал волосы.

Причины, по которым истязуемые сдавались и подписывали показания, были различными. Огромную роль играла пытка бессонницей (ночные допросы; днем спать было невозможно), перевод на «голодание», постепенное ослабление воли. Для коммунистов важную роль играли те соображения, которыми определялась капитуляция старого большевика Рубашова в романе Кестлера «Слепящая тьма»: сознание того, что это – их власть, за которую они боролись, и справедливость в конце концов восторжествует, хотя бы после их смерти. Программой минимум наиболее порядочные заключенные считали: выйти не удастся, но никого другого подвести нельзя. Шесть дней держалась на допросах Вика, единственная девушка из «меньшевистской группы»; на шестой день следователь расстегнул ей блузку, недвусмысленно угрожая изнасилованием. Тогда она подписала.

Марк утешал себя тем, что он подписал признания, когда все остальные из его группы уже сдались. Он признался в том, что критиковал официально утвержденный школьный учебник Шестакова, где царство Урарту было объявлено древнейшим грузинским, а не армянским (как полагали всегда) царством, и что он был недоволен запрещением абортот. Это было квалифицировано как антисоветская агитация. Свое вступление в «меньшевистскую организацию» он отнес к тому времени, когда два месяца лежал в больнице после операции аппендицита, осложненного перитонитом, – эта уловка оказалась впоследствии не лишней.

Суда не было: приговор выносило «особое совещание». Гиллельсон и другой оговоренный им осужденный Иосиф Амусин, будущий известный ученый-гебраист (ранее сосланный по реальному, а не липовому меньшевистскому делу) получили по восемь лет, остальные – по пять лет лагеря.

О дальнейшем Марк повествовал в двух сохранившихся фрагментах воспоминаний: «...После тяжелейшего этапа, мучительной высидки в Свердловской пересыльной тюрьме, где меня разлучили с понравившимся мне Иосифом Амусиным, нас с Гиллельсоном привезли на комендантский пункт VI отделения Усольяга в село Ныроб, где когда-то в вольной ссыл-

ке проживал будущий «великий революционер и страдалец» Клим Ворошилов. Там в лагерные документы были внесены с наших слов «лагерные специальности»...» Еще до прибытия в Ныроб встал вопрос об определении этой специальности. «...Советы сокамерников, знание латыни, кое-какие медицинские знания (я с детства собирался стать врачом, изучал немного фармакологию и присутствовал на операциях профессора Б. П. Абрамсона) убедили меня назваться в лагере студентом не исторического, а медицинского факультета. В сопровождавшем нас в лагерь деле было только указано, что мы студенты такого-то курса. ВУЗ, таким образом, нам предоставлялось выбрать самим. Но моему плану последовал только один из поделщиков – Амусин... Документы были направлены на лесоповальную командировку VI отделения, лежащую в 30-40 километрах, – Низву; туда же отправили в переполненном грузовике нас с Гиллельсоном. Не скажу, чтобы общество Гиллельсона было мне приятно. Но окружающая стихия, непознанный уголовный мир заставлял держаться за своего брата студента, имевшего уже некоторый тюремный опыт...»

О Низве Марк писал, что эта местность, сохранившая финно-угорские названия (Низва, Колва, Луква) и входившая в Коми-Пермяцкую область, была в то время населена раскулаченными из южных областей России, и местное население, наполовину спившееся, жило чуть ли не беднее лагерников, которых остро ненавидело.

По прибытии в Низву Марку повезло – доктор Юрьев, тоже заключенный, взял его на работу санитаром в лагерную больницу. Некоторое время спустя Марк написал домой письмо с просьбой прислать ему какой-нибудь учебник по фельдшерскому делу. Причина не объяснялась, но Ирина Суздальская, помогавшая его матери собирать посылки, догадалась, что это как-то связано с его намерением удержаться в лагерной больнице. Учебник был выслан. Однако карьере санитаря (и заодно больничного статистика, подсчитывавшего смертность – 25 процентов за три месяца в лагере) прервала попытка Марка устроить свидание с Викой Коган. Рассвирепевший охранник оставил его на морозе пилить дрова, и он отморозил себе палец. Его послали на общие работы; обязанности санитаря перешли к Амусину.

Но шел уже 1939 год. Ежова сменил Берия, и начался ничтожный по сравнению с прежними и новыми арестами, но все же некий антипоток заключенных. Мать Марка, адвокат по профессии, женщина неукротимой энергии, отправилась хлопотать в Москву. Дело удалось передать в военную прокуратуру на том основании, что отец Марка (вскоре после этого умерший) служил в Военно-медицинской академии. Ходатайство о пересмотре подписала известная актриса, депутат Верховного Совета Е. П. Корчагина-Александровская. Ссылаться на то, что показания были выбиты под пытками, было нельзя; известную роль сыграло противоречие между занесенной в дело датой вступления в «меньшевистскую организацию» и фактом пребывания Марка в больнице. За исключением «лидера» Гиллельсона, дававшего показания на всех очных ставках, участники мнимого дела были освобождены.

В декабре 1939 года Марк Ботвинник вернулся домой. Он женился на Ирине Павловне Суздальской, восстановился в Университете; закончить курс не составило большого труда. Не сдана была педагогическая практика, но декан истфака Фрайман, не лишенный, несмотря на крайнюю неинтеллигентность, нормальных человеческих чувств (и переживший вместе со всеми страхи 37-го и 38-го годов), признал, что педагогическую практику Ботвиннику можно зачесть: «У него уже было довольно практики». В 1940 году Марк окончил исторический факультет Университета; он должен был поступить в аспирантуру и стал заведовать кабинетом древней истории; одновременно начал руководить историческим кружком при Дворце пионеров. Он стал казаться даже перспективной фигурой, возможным конкурентом для своих коллег, начинающих научную карьеру.

Однако внешнее благополучие реабилитированного ээка скрывало глубокий внутренний кризис, который остался после заключения. Он чувствовал себя примерно как герои Ремарка после окончания войны; что-то в нем непоправимо изменилось. Потеряно было чувство уверенности в дальнейшей жизни; хотелось жить сегодняшним днем и не загадывать на будущее.

А вскоре началась война. Оба мы были невоеннообязанными (Марк – по туберкулезу, я – по зрению) и осенью 1941

года (я окончил Университет годом позже) эвакуировались из Ленинграда. Марк с Ирой оказались в Ачинске, потом в Томске; я в Красноярске, куда попал по распределению и откуда был направлен в Енисейск. В Томске Марк попытался сменить свое гуманитарное образование на начатую было врачебную деятельность и поступил в медицинский институт. Он дошел даже до анатомички, но становилось все более голодно, и долголетнее обучение представлялось малореальным.

В Енисейске, находившемся вдалеке от железной дороги (сообщение было паромом, самолетом или на лошадях), жизнь была более мирной и благоустроенной, чем в Томске, переполненном эвакуированными. Я работал в местном Учительском институте и в 1942 году позвал туда Марка и Ирину. Город был маленький, тихий; население составляли, кроме коренных сибиряков, спецпереселенцы (раскулаченные) и многочисленные ссыльные (латыши, поляки, потом высланные из Ленинграда и других городов немцы и финны). Когда мы заинтересовались происхождением наших студентов, то выяснилось, что почти все они — дети спецпереселенцев.

Марк читал древнюю историю и русскую историю XIX века; времени на подготовку этого последнего курса у него почти не оставалось, и он дочитывал необходимые пособия в читальне института, что не укрывалось от глаз студентов. Но отношения с ними были хорошие: уже тогда сказывалась его способность сходитья с самыми различными и особенно с молодыми людьми. В Енисейске в 1944 году у него родились дочери-близнецы.

В том же 1944 году Марк с семейством возвратился в Ленинград. Он вновь стал заведовать кабинетом древнего мира, преподавал латынь и даже завел своих первых учеников (И. Свенцицкая, Л. Тарасюк и другие). Наступило время готовить диссертацию. Была уже и тема, задуманная еще до ареста, в студенческие годы, — Феогнид Мегарский. Он написал вводные статьи к этой работе — о политической истории Мегар в VI веке (впоследствии они были напечатаны — в 1951 и 1956 годах), но дальше этого дело не пошло. Он никак не мог принуждать себя к не увлекавшей его работе. Отец мой, очень любивший Марка, сожалел, что у него совершен-

но отсутствует *Sitzenfleisch* – зад как орган усидчивости. Сам Марк говорил по поводу своей диссертационной работы, что она напоминает стояние на берегу холодного моря: чем дольше стоишь, тем меньше хочется залезать в воду.

Иначе обстояло дело с преподаванием. С 1945–1946 годов мы оба стали работать в Педагогическом институте им. Герцена, ведя практические занятия на историческом факультете и курсы истории на дефектологическом отделении, готовившем преподавателей для специальных школ. Об этой работе у нас обоих остались добрые воспоминания – нашлись способные студенты, с которыми установились дружеские отношения (в числе их – будущий известный востоковед М. Дандамаев), и преподавать было интересно.

Но вновь наступали трудные времена. Начиналась «космополитическая» кампания, и грозила она не только лишением работы, но часто и куда более серьезными бедами. К этому повороту судьбы Марк был более готов, чем кто-либо другой из нас. Пережитое в 1938–1939 годах во многих отношениях сформировало его личность. Некоторые черты его характера были необычными, даже эксцентричными. Память у него, как и у всякого человека, была избирательной. Она обращалась не столько на литературные произведения или события всемирной истории (он даже подсмеивался над моей способностью запоминать даты и литературные персонажи), но на множество подробностей о самых различных людях – об обстоятельствах их жизни, родственных связях и характерах. Все это казалось несколько странным – в отделе кадров он служить не собирался, а подпольных организаций в те годы не существовало (во всяком случае, мы о них не слыхали), и на роль хранителя «Народной воли», Александра Михайлова, он претендовать не мог. Но характеристики отдельных людей, которые он старался установить – резкие и не всегда справедливые, – определялись прежде всего неизбежной осторожностью: не может ли данный человек оказаться трусом, карьеристом, предателем, а при случае – и стукачом.

Моя очередь испытать превратности судьбы наступила уже весной 1949 года. Меня стали вызывать в «Большой дом» – оказалось, что один из моих знакомых регулярно до-



носил о наших с ним разговорах. Немедленный арест не последовал, но ждать его можно было в любое время. Одновременно началась «проработка» за «космополитизм» в Герценовском институте. И в этой обстановке Марк дал мне совет, который в нормальных условиях был бы безумным: не цепляться за работу в родном городе, уйти со всякой службы, выписаться и уехать подальше от Ленинграда. Так я и сделал – благо институтское начальство больше всего хотело «увольнения по собственному желанию» (как выяснилось, им потом пеняли из МГБ – за то, что они так легко со мной расстались). Почти весь учебный 1949/50 год я пребывал в нетях и, хотя это может показаться теперь перестраховкой, думаю, что Марк спас меня от ареста.

В 1951 году «Большой дом» проявил интерес и к самому Марку. Дело 1938–1939 годов было официально прекращено за отсутствием состава преступления, но институт Герцена ему пришлось покинуть. Он перешел на работу в школу – сперва историком, затем преподавателем латинского языка. На короткое время он устроил меня в ту же школу преподавателем логики. Предмет этот, как и латынь, не входил в аттестат, и десятиклассники отлично понимали, что это им совершенно не нужно. Марк, никогда не стеснявшийся вести самые откровенные разговоры с учащимися, спросил, какой из двух предметов – логику или латынь – они считают более бесполезным. «Пожалуй, логику», – вежливо ответили они. И тогда же, в 50-х годах, у нас обоих появилась литературная работа. Профессор исторического факультета Д. П. Каллистов понял, что для осуществления коллективных гонорарных изданий полезнее всего «литературные негры» – такие, как мы с Марком. «Книга для чтения по истории Древней Греции», составленная группой московских авторов, потребовала срочной переделки: она была настолько нудной и так мало отличалась от учебника, что смутила даже Учпедгиз. Нужно было сократить или даже выбросить наиболее бездарные рассказы, а освободившиеся листы заполнить чем-либо более читаемым. Мы это сделали; книга имела успех, была четырежды переиздана и переведена на несколько языков: украинский, чешский, венгерский и даже китайский.

Марк Ботвинник вместе со своим учеником и приятелем Б. П. Селецким написал для этой книги несколько превосходных рассказов. Один из них, о вечно голодных и промышляющих воровством детях прославленной Спарты, начинался словами, явно заимствованными не из античных источников: «Подъем!» – закричал ирен. Мальчики быстро вскочили...» Другой рассказ – о петушином бое на афинском рынке. Придуманый для последнего анекдот о провинциалах, привезших в Афины боевого петуха, и об афинских жуликах, заменивших перед вторым туром сражения своего петуха на свежего двойника, был воспринят читателями как подлинный эпизод из древнегреческой жизни. Драматург Горин включил его даже в пьесу «Забыть Герострата». Аналогичным образом была переделана и вновь составлена другая книга для чтения – «Древний Рим».

«Оттепель» открыла Марку Наумовичу возможность вновь вернуться в институт Герцена. Это было время его наибольшего преподавательского успеха. При очередной перестройке высшего образования исторический факультет пединститута слили с литературным (филологическим), и студенты-филологи, традиционно убежденные в том, что история им совершенно не нужна, встретили лектора-историка весьма холодно. Тем более неожиданными были последствия – история древнего мира стала наиболее любимым ими предметом. После окончания курса студенты преподнесли лектору некое художественное изделие, на котором было выгравировано: «Veni, vidi, vici» (пришел, увидел, победил). Многие из студентов этого потока надолго сохранили дружеские связи с Марком Наумовичем. Судьба их оказалась различной. Олег Творогов стал доктором филологических наук, заместителем директора Пушкинского дома; Наталья Рубинштейн (Альтварг) ныне работает на Би-Би-Си; Александр Пинскер – сотрудник «Голоса Америки».

Но учреждение, изначально проявлявшее о Марке Наумовиче отеческую заботу (теперь оно уже называлось КГБ), вновь напомнило ему о своем существовании. В 1957 году советским гражданам дозволено было познакомиться с творчеством Пикассо; выставка была устроена и в Ленинграде. Увлеченные новыми художественными впечатлениями, сту-

денты (в том числе и Герценовского института) решили обратиться на площади Искусств, чтобы поговорить о Пикассо. Марк вместе с Б. П. Селецким пришел на этот своеобразный митинг без какой-либо определенной цели, из простого любопытства. Но событию этому решено было придать конкретный политический смысл, и присутствие преподавателей (их сфотографировали на площади) усугубляло подозрения. Вновь Марку пришлось побывать в учреждении, сыгравшем столь важную роль в его жизни. Но за прошедшие двадцать лет кое-что все-таки изменилось, и в беседах с сотрудниками «Большого дома» он мог занять определенную, достаточно вызывающую позицию. Ответом было новое, на этот раз окончательное, изгнание из Института Герцена.

Бдительность по отношению к самим бдящим органам, внутреннее противостояние им постоянно ощущались его друзьями. Круг этих друзей был широк. Марк вообще любил общаться с людьми, и дома у него, сперва в столовой на Стремянной улице, затем в большой кухне на улице Рубинштейна, постоянно было много народу. Тихая и мужественная Ирина Павловна как-то ухитрялась кормить обедом или ужином поочередно сменяющихся гостей, хотя, вероятно, это было нелегко. Один из друзей его дочек даже спародировал по этому поводу «Евгения Онегина»:

Давал обеды их отец

И разорился наконец...

Но одна особенность сближала многочисленных гостей: среди них не встречались люди, придерживавшиеся официальной идеологии. Постепенно Марк приобрел среди этих знакомых своеобразную роль поверенного и консультанта в тех (не столь уж редких) случаях, когда к ним начинали проявлять опасное внимание органы. Эту его роль восприняла даже жившая в их доме деревенская девушка Надя, поступившая работать на Монетный двор. Учреждение это всегда пользовалось особым вниманием стражей безопасности, и ее вскоре захотели завербовать в сексоты, угрожая в случае отказа обвинить не то в хищениях монетного металла, не то в шпионаже. Возмущенная Надя воздела руки к небесам и закричала: «Все Марку Наумовичу расскажу!» Вряд ли местный блюститель знал, кто такой таинственный Марк Нау-

мович, но сама страстность призыва к его авторитету смутила рядового опера, и он ретировался.

А Марку Наумовичу вновь пришлось вернуться к преподаванию латыни на этот раз в медицинском училище. Но главным делом стала для него литературная работа, и здесь преподавание и постоянное общение с разнообразными собеседниками не помешали ему сделать очень много. Одной из изданных им в это время книг был «Мифологический словарь», составленный совместно с М. А. Коганом, М. Б. Рабиновичем и Б. П. Селецким и выдержавший семь изданий (не считая переводов на армянский, чешский языки). Не менее популярными стали «Жизнеописания знаменитых греков и римлян», составленные совместно с Г. А. Стратановским, М. Б. Рабиновичем и другими и также многократно переизданные в разных вариантах. Жанр этих книг, где рассказы Плутарха соединялись с рассуждениями, предназначенными для современных читателей, мог показаться несколько непривычным, но он давал возможность авторам высказать собственные мысли об истории и исторических деятелях.

Перерабатывал Марк Наумович не только древних, но и более поздних авторов. Им (совместно с В. Г. Боруховичем) был отредактирован и в значительной степени заменен новыми разделами вузовский учебник «История Древней Греции» В. С. Сергеева, первоначальный текст которого содержал множество фактических неточностей. Здесь сказался еще один из его талантов. Редактором он был превосходным (я убедился в этом, когда он, по дружбе, редактировал мои работы) – остро ощущал всякие длинноты и фальшь и ясно видел, что в книге можно устранить без ущерба для ее содержания.

Одна особенность бросается в глаза в его работах – почти все они были созданы в соавторстве с другими лицами. Это тоже было одной из характерных черт Марка Ботвинника: он не любил работать в одиночестве и даже, сотрудничая с другими, предпочитал не делить работу на отдельные части для каждого автора, а сочинять вместе. Так были сделаны наши совместные комментарии к изданию древней русской версии романа об Александре Македонском «Александрии»; таким же образом был написан им совместно с О. В. Творо-

говым комментарием к древнерусским «Троянским сказаниям». В соавторстве предпочитал Марк и переводить тексты – сочинения древних авторов, труды иностранных ученых (М. Римшнейдер, Э. Пауля, Ф. Шахермайра). Редакция перевода и проверка по источникам во всех случаях принадлежала ему.

Но метод Ильфа и Петрова срабатывал не всегда – например, когда он писал с моим отцом, С. Я. Лурье, книгу «Путешествие Демокрита». Марк специально приехал в Друскининкай, где жил в то время С. Я., но после нескольких сеансов совместного творчества отец заявил, что так писать он не умеет: первую часть книги в основном написал Марк, вторую – С. Я. Книга, вышедшая уже после смерти моего отца, в 1964 году, была предназначена для детской аудитории, но привлекла и взрослых читателей. «Честно говоря, жаль, что ваша книга... кончается так быстро, – написал один из читателей журнала «Знание – сила». – И это очень здорово, когда книга написана так, что с ней не хочется расставаться... Спасибо за науку, которую я когда-то зубрил без особого энтузиазма и, главное, толка. Побольше бы таких книг, и, честное слово, в свое время я бы отвечал по истории не на тройки, а на пятерки с плюсом!» («Знание – сила», 1965, 16).

Начавшееся в 70-х годах правозащитное движение не могло не привлечь Марка Наумовича, никогда не забывавшего свой счет к «Софье Владимировне» (так, если помнит читатель, именовали тогда советскую власть). Он был усерднейшим читателем и переписчиком самиздата. Дочь его Ноэми, вышедшая к этому времени замуж и переехавшая в Москву, приняла живое участие в правозащитном движении – она была знакома с Сахаровыми, дружила с С. Ковалевым, Т. Великановой, ездила к ним обоим в ссылку, помогала и другим диссидентам. В это же время познакомился с правозащитниками и Марк. Связи эти не ускользнули от внимания соответствующих органов в Ленинграде. Однажды, в духе того времени, был задуман довольно оригинальный способ проникнуть в подозрительную квартиру. Пятилетний внук Марка, живший с родителями, бабушкой и дедушкой, заболел воспалением легких. Мальчика отправили в больницу, где он вскоре выздоровел. Но выписку, уже назначенную, внезапно

отменили под каким-то бессмысленным предлогом: заявили, что ребенок должен остаться в больнице для обследования. Случайно выяснилось, что решение это принято не по медицинским соображениям, а по указанию «оттуда». Марк немедленно ощутил себя мобилизованным. В квартире было установлено круглосуточное дежурство, которое исключило возможность появления непрошенных визитеров, рассчитывавших на отсутствие хозяев. Внука удалось забрать из больницы без разрешения врачей. Негласный обыск не состоялся.

А основания для такого усиленного внимания были. После высылки Солженицына был создан «Солженицынский фонд», для руководителей которого, периодически сменявшихся из-за арестов и обысков, было опасно хранить и перевозить деньги, предназначенные для поддержки политических заключенных и их семей. Нужны были люди – безусловно надежные, но официально не связанные с диссидентским движением. Одним из них стал в Ленинграде Марк.

В начале 80-х годов был арестован распорядитель фонда Валерий Репин. На следствии он дал, в частности, показания на Ботвинника. Последовал очередной вызов в «Большой дом», но были уже не прежние времена. Марк Наумович держался в этой последней его беседе с давними знакомыми так, что одного из друзей М. Н., вызванного на Литейный по другому делу, гэбисты попросили как-нибудь внушить Ботвиннику, чтобы он «не фрондировал» и не держал в доме запрещенную литературу. «Почему вы передаете это через меня? Скажите ему сами». – «Ну, знаете, у него такой плохой характер», – объяснили стражи государственной безопасности.

Характер у Марка Наумовича был действительно неважный – нередко он бывал резок со знакомыми и малознакомыми людьми, но на этот раз особенности его характера оказались как нельзя более кстати. Даже уволить его со службы уже было невозможно – с конца 70-х годов он вышел на пенсию.

Последней работой Марка Наумовича, не отмеченной в его трудовой книжке и не приносившей серьезных заработков, была работа в лектории Эрмитажа, продолжавшаяся с конца 60-х годов почти до конца его жизни. Лекции по ан-

тичной истории, культуре и литературе он читал в Эрмитажном театре, и это было для него очень важным и дорогим делом. У эрмитажного начальства хватило ума оценить не ученую степень и прочие регалии приглашенного ими специалиста, а его подлинные знания и лекторский талант. Предназначались его лекции для сотрудников античного отдела, экскурсоводов и просто интересующихся древней историей людей и имели большой успех.

Вместе с Марком Ботвинником мы пережили дни 19–21 августа 1991 года. Он был оптимистичнее меня, но вечером накануне 21–го сказал, что серьезно опасается победы путчистов. Однако массовое движение в Москве и в Питере внушило и ему надежды на перемены в стране.

Последующие годы существенно поколебали эти надежды. Новомодная «духовность», культ царской России, «которую мы потеряли», привлекали его не больше, чем прежняя советская «партийность». Последний год его жизни был тяжелым: испортилось зрение – операции не дали результатов, он почти не мог читать и писать. Зимой 1993 года после тяжелой болезни умерла его дочь Нозми.

Но Марк продолжал живо интересоваться окружающим: с помощью друзей закончил работу над переводом с немецкого книги В. Йегера «Пайдейя», просил читать ему газеты и книги, слушал «Свободу», смотрел (хотя почти и не видел) телевизионные передачи, бодро и быстро ходил по улицам. Последнее лето мы жили рядом в Пушкине, постоянно спорили о будущем, о возможности прихода фашизма. Один из таких споров в Екатерининском парке прервала внезапная гроза; мы разбежались по домам. А на следующее утро, 15 августа 1994 года, позвонила Ирина Павловна и сказала, что ночью от разрыва аорты Марк умер...

После него остались незаконченные работы и множество отдельных записей. Вот одна из них, предназначенная для последней лекции в Эрмитаже в марте 1991 года:

«Обычно я заканчивал эту лекцию словами предупреждения... Сегодня мою последнюю лекцию в этом прекрасном зале я хочу закончить призывом изучать всеобщую историю, стремиться понять множество законов, ею управляющих. Было время – в Германии при Гитлере, да и у нас не так давно, –

когда для предсказания будущего считалось достаточным усвоить основные выводы из прошлого какого-либо, обычно родного народа: «Русские прусских всегда бивали» или «Северные народы превосходят в труде и войне ленивые южные народы». Целые периоды истории шли под этими отрицающими всеобщую историю лозунгами. Но история сама мстит своим гонителям, и мстит жестоко. Большой кровью платят те, кто пытается обеднить ее, свести к какой-либо несложной закономерности. Вот почему судьба Римской империи, так напоминающая в некоторые свои периоды нашу историю... стоит того, чтобы постоянно возвращаться к ее урокам... Создание огромной супердержавы не обещает жителям ни спокойной жизни, ни гарантии безопасности, ни счастья. Огромный Рим, выросший на завоеваниях, захвативший всю ойкумену, город, куда стекались богатства всего мира, где граждане получали средства к существованию просто за то, что они были римскими гражданами и продавали императорам свои голоса и свою поддержку, не был счастлив. Стремясь к новым завоеваниям, он неминуемо должен был пасть. Пользуясь привозным добром, граждане отучились производить собственное... Улицы были небезопасны, праздность толкала людей на преступления... Само название демократии – еще не гарантия прав народа. Свобода выбора определяется зрелостью демократической традиции... Профессионалы, готовые ради добычи и жалованья идти за своим вождем против кого угодно, даже против родного города, – страшная угроза демократии... Великий Рим, надорванный рабством паразит, должен был рухнуть...»

Среди оставшихся записей есть и такая, содержащая размышления о героях истории:

«Часто любят задавать вопрос: «А кто твой любимый герой?» В разные годы жизни я отвечал на этот вопрос по-разному. В детстве я увлекался Наполеоном: беззаветная храбрость, неприступная гордость, а, главное, удачи этого маленького капрала пленяли мое воображение... Но первая половина нашего века была временем, когда рушились старинные монархии, самым упрямым приверженцам единоличной власти становилась ясной жестокость и ненужность межнациональных войн и непрочность держав, покоившихся на поко-



рени и угнетении множества народов. Наше поколение увлекалось иными героями. И только они казались достойными подражания – не завоеватели, а великие революционеры, не жалевшие своей жизни и не щадившие близких ради блага народа. Жизнь этих людей, таких героев, как Спартак, братья Гракхи – и даже их гибель способны были пленить воображение... Имена декабристов врезались в память с детства вместе с изображениями в красивых мундирах. Оставались в памяти образы красивых и гордых девушек из знатных и состоятельных семей (Софья Перовская, Вера Фигнер), ушедших в революцию в конце прошлого века. И, наконец, имена тех, кто отдал жизнь за нашу революцию, навсегда покончившую, как мне тогда казалось, с бесправием миллионов в царской России. Много лет я жил во власти этих представлений, меняя своих героев, начиная оценивать их не только за непримиримость к уходящему злу, но и за мудрую распорядительность..., за милосердие к людям и отзывчивость к чужим страданиям. Но, наконец, я пришел все-таки к выводу, что *своего* героя, неподвластного моде времени и увлечениям сверстников, надо искать не обязательно среди прославленных героев и пламенных революционеров. Вовсе не обязательно, чтобы человек был прославлен при жизни...»

## М. Н. БОТВИННИК

В 1945 г. М. Н. Ботвинник был приглашен В. В. Струве на должность ассистента исторического факультета Ленинградского государственного педагогического института им. Герцена. В течение многих лет он читал лекции и проводил семинарские занятия по древней истории Востока, Греции и Рима.

В 1948 г. я был одним из слушателей его увлекательных лекций, которых студенты всегда ждали с волнением. Перед нами ярко оживали давно исчезнувшие цивилизации, облики исторических деятелей, сцены культурной и повседневной жизни. В моей личной судьбе эти лекции сыграли огромную роль, навсегда определив мою будущую профессию.

По окончании курса лекций наше знакомство не оборвалось, и Марк Наумович продолжал помогать мне, знакомя с основополагающими трудами по древней истории, рассказывая о новых открытиях в этой области и постоянно давая мне читать книги из своей библиотеки. Он был очень щедрым учителем, который не только умел пробуждать у студентов интерес к науке, но также много занимался с ними древнегреческим и латинским языками. Занятия эти проходили в его квартире на Стремянной улице, где в те годы Марк Наумович жил. Проходили десятилетия, одно поколение студентов сменялось другим, а занятия продолжались, как неизменно продолжалось и радушное гостеприимство Ирины Павловны Суздальской, жены Марка Наумовича, и их дочерей.

Когда в течение последнего десятилетия старый режим стал рушиться в нашей стране, часто можно было услышать, что в тоталитарный период никто ничего не знал о положении в государстве, что все были оболванены пропагандой и отсутствием информации. Это, конечно, не так. Марк Нау-

мович был одним из тех, кто не дал режиму обмануть себя. На его глазах не было никаких шор, ибо он обладал стопроцентным иммунитетом против социальной и политической демагогии. Еще в студенческие годы изведав сталинские концентрационные лагеря, он полностью избавился от всяких иллюзий (если они когда-либо у него были). В те безнадежно мрачные годы моей учебы в Герценовском институте (с 1948 по 1952), то ли в порыве неистребимой любви к просвещению, то ли от жажды общения Марк Наумович много рассказывал мне о неприглядных деяниях советских вождей и в самый пик дружбы между СССР и Китаем нисколько не верил в ее монолитность и уже предвидел грядущие конфликты между ними.

Марк Наумович опубликовал ряд исследований по истории Древней Греции (в частности, о Феогниде Мегарском). Но у него не было вкуса к созданию работ, рассчитанных на узкий круг специалистов. Будучи талантливым популяризатором науки, он любил широкий круг читателей, к которым обращался в своих книгах по истории и культуре античных государств. Его многочисленные переводы древних авторов заполнили заметную лауну в антиковедении и культурной жизни нашей страны. Ему принадлежат также прекрасные переводы с немецкого и английского книг по древней истории, включая капитальный труд известного ассириолога А. Л. Оппенгейма «Древняя Месопотамия», уже выдержавший два издания на русском языке.

Все, кому посчастливилось учиться у Марка Наумовича или дружить с ним, будут благодарны судьбе за то, что встретили на своем жизненном пути этого замечательного, неповторимого человека с неистощимым запасом юмора, остроумия и эрудиции.

Ф. П. Красавин

## ОПЫТ ОТКРЫТОЙ ЖИЗНИ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Мы умрем, как пехотинцы,  
Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи!

*Осип Мандельштам*

Не часто случается в жизни удача повстречаться с человеком, с которым вы сразу чувствуете себя непринужденно, а со временем ваши отношения с ним достигают той совершенной простоты, когда уже нет никакой нужды опасаться быть превратно понятым. Искреннее дружелюбие и открытость вашего собеседника таковы, что при встрече вы спокойно вылезаете из своих ржавых запыленных доспехов и, сложив их на зеленую травку, полной грудью дышите воздухом свободы, веющим над полянами дружбы.

Вообще открытые люди довольно редко встречаются в городских чашах эпохи высокой цивилизации или конкуренции всех со всеми. Так редки благородные олени в лесах, где часто ступает нога высокоцивилизованного человека, неразлучного с электропилой или винтовкой с оптическим прицелом.

Мне повезло познакомиться и посчастливилось быть в течение четверти века в дружеских отношениях с Марком Наумовичем Ботвинником, одним из замечательных представителей породы открытых людей.

Историк по складу ума и по образованию и человек, глубоко укорененный в своем месте и времени многочисленнейшими человеческими связями, он родился в Петрограде накануне отречения последнего царя и, прожив в нем почти всю свою большую жизнь, ушел из этого мира через несколько лет после отречения последнего генерального секретаря. Та-

ким образом, его жизнь полностью совпала по времени с эрой Октября (когда летосчисление велось по годовщинам ВОСР и партсъездам) – высшей и последней фазой российского империализма.

Будучи потомственным интеллигентом, он разделил со всем своим сословием уготованную ему властью рабочих и крестьян судьбу людей, чуждых ей по своему духу и происхождению. Люди, наделенные врожденной привычкой думать и потребностью понимать, были глубоко, можно сказать, онтологически враждебны партии большевиков, призванной объединить людей на основе лишения их человеческого достоинства. Сотни тысяч отправленных поначалу в ссылки, а затем в тюрьмы и лагеря единственно лишь за то, что имели несчастье обнаружить склонность к самостоятельному, а не к стадному образу мыслей, самой своей судьбой являли, что горе от ума, в той или иной мере неизбежное во всяком идеологизированном обществе, в условиях беспросветно закрытого общества становится безмерным.

Именно таковым по своей природе было «дело античного кружка», спроворенное следователями НКВД вместе с сотнями ему подобных в 1938 году, по которому группа студентов исторического факультета ЛГУ отправилась «полюбить тоску» в лагеря на Северный Урал. Обвинение было монолитно, как гранит «Большого дома». «Следователь... в том нас обвинял, – писал в своих воспоминаниях Марк Наумович, – что интерес к древности сам по себе показывает, что мы не приемлем современности».

Лагерная судьба оказалась милостивой к любителям античности, и никто из них не остался лежать в уральской земле с биркой на ноге. Марк Наумович вынес из лагеря вместе с сохранившимся интересом к древней истории реалистическое чувство современности и туберкулез. Дело было прекращено, и перед ним открылась завидная возможность влиться в ряды «трудовой интеллигенции». Это словечко из государственного жаргона тех приснопамятных времен требует некоторого уточнения для современного читателя. Партия понимала, что интеллигенция – это, как установил Ильич, «говно», и ее гнилое нутро не было для коммунистов секретом. Но та же партия справедливо полагала, что при уме-

лом руководстве можно успешно использовать отдельных, осознавших «всепобеждающую силу марксистско-ленинских идей» представителей этой говенной прослойки для строительства социализма в качестве служащих за страх (совесть, как известно, имелась в те времена только у пролетариата и его партии). Таким «осознавшим» и помогающим партии вскрывать случаи идеологических ошибок в коллективах, в которых они трудились под присмотром друг друга, разрешалось называться «трудовой интеллигенцией» (в отличие от всей прочей – «гнилой») и пользоваться даже известными послаблениями режима и поощрениями.

Однако не столь уж продолжительный, но достаточно насыщенный яркими впечатлениями опыт арестантской жизни и чуждые советскому обществу представления о человеческом достоинстве помешали молодому историку воспользоваться предоставленными ему возможностями. Работу свою он любил и помимо основного места работы на кафедре пединститута им. Герцена читал лекции как «почасовик» во многих других вузах города, чтобы худо-бедно обеспечивать семью в нелегкие послевоенные годы. Но вот собраний всяческих, заседаний и т. п. избегал и мимо начальственных кабинетов пробегал по преимуществу рысцой. Студенты его любили за лекторский талант и за простоту в общении, начальство присматривалось и до поры терпело.

Видимо, существует некая провиденциальная связь между внутренним миром человека и событиями, которые гонит ветер к его берегам из просторов мира внешнего. Она становится заметной постепенно, по мере того как человек становится самим собой. Когда Сократ найдет свое место на площади, фонарь Диогена ему ни к чему. Хризипп и Платон найдут его сами, равно как и Мелет с Анитом. Но слаб человек, даже если он мужественно стремится стать самим собой, и потому нуждается, чтобы Провидение помогало ему находить свой путь, не давая сползти в общую колею, в ложной надежде проплыть между службой тьмутараканскому болвану власти и неуютом поднадзорного существования.

Если «Дело античного кружка» дало Марку Наумовичу исключительную возможность пополнить свои представления о людях, научиться от них уму-разуму, которого не сы-

щешь в «большой зоне», и выработать на всю жизнь стойкий иммунитет против лжи властей предрержащих, то изгнание в 1951 году из стен высшей школы уже опытного преподавателя за преступную принадлежность к противозаконно существующей нации помогло ему осмыслить историческое единство национал-коммунистического и православно-монархического самовластия и свое двойное изгойство среди верно-подданных этой власти: как человека еврейской национальности и как свободомыслящего человека.

Пройдут года, прогреет прозябшую землю нежаркое солнышко оттепели – и напуганное резким зигзагом генеральной линии начальство вновь допустит его к преподаванию на кафедре. В 1956 году допуск состоялся – при сомнении в целесообразности этого акта, испытываемом обеими сторонами. И жизнь подтвердила правоту этих сомнений. Не дотянув месяца до года своей возобновленной лекторской деятельности на кафедре всеобщей истории Пединститута, старший преподаватель Ботвинник оказался вновь вытурен взащей из-под сводов храма советской науки. Причиной явилась идеологическая диверсия, направленная на подрыв политики партии и правительства в деле воспитания советской молодежи в духе преданности идеалам коммунистического общества. Это выразилось в его вызывающем присутствии на площади Искусств, где он благодушно посиживал с коллегой на лавочке в сквере – в то время как группа недостаточно сознательных студентов рядом с ними оживленно толковала о творчестве недостаточно идеологически выдержанного Пикассо. На этот раз Министерство высшего образования раз и навсегда рассталось с многократно скомпрометировавшим себя перед советской властью преподавателем истории, указав ему его место на свалке истории, в черте оседлости отщепенцев и безродных космополитов. Что же касается Пикассо, то ему через пяток лет, по зрелом размышлении, решили присудить Международную Ленинскую премию, хотя это все равно не помогло Пикассо осознать свой долг перед всем передовым человечеством и вступить в идеологически выдержанные ряды борцов за мир и социализм.

Марк Наумович, не чета Пикассо, напротив, на этот раз ясно и до конца осознал свои ошибки и твердой ногой всту-

пил на стезю свободного историка без ангажемента, чтобы никогда уже не соблазняться впредь хлебом и лавром историка казенного. На хлеб с этих пор он стал зарабатывать преподаванием латыни в различных школах и училищах, дополнительно подрабатывая переводами исторической литературы, когда удавалось получить заказ. А шелест лавров не тревожил его сон. Он не страдал, поскольку чувство собственного достоинства у него намного превосходило весьма умеренное честолюбие, вполне удовлетворявшееся тем, что в узком кругу античников его знали и ценили как специалиста. С невозможностью издавать собственные труды он примирился вполне, как и с оценкой их официальными ценителями. Чего стоит один только факт, что великолепная его статья о двух типах цивилизации – «Слабость силы и сила слабости» – смогла, да и то случайно, увидеть свет только на страницах такого журнала, как «Клуб и художественная самодеятельность» (№ 20, 1976).

Возможно, наилучшая и справедливейшая оценка труда его жизни заключена в словах его ученика и друга М. А. Дандамаева, сказавшего о нем: «Есть ученые, которые оставляют себя в своих книгах, написанных в тиши кабинетов для узкого круга специалистов, и есть те, что оставляют себя в людях, которых они обучали в живом общении с ними в аудиториях и вне казенных стен». Марк Наумович принадлежал именно к этой последней категории ученых, и его научное наследие осталось прежде всего в его слушателях и собеседниках.

Чтобы не сложилось впечатление, что жалкий жребий и скудный хлеб преподавателя латыни превратили его в замкнутого и угрюмого мизантропа, каких немало водилось в сумрачных чашах интеллигентской резиньяции, следует заметить, что Марк Наумович в незавидных своих обстоятельствах продолжал оставаться человеком на редкость общительным и весьма склонным к хорошей шутке. Опыт только заставил его выработать известную технику защиты от людей казенных и особенно от людей по-советски широких, то есть сочетающих ограниченную симпатию к свободомыслящим друзьям с безграничной преданностью казенным идеалам. А в общем, живя в наглухо закрытом обществе, Марк Наумо-



вич позволял себе жить столь открыто, что это на фоне общепринятого осторожного гостеприимства производило впечатление какой-то легкомысленной беспечности. На своем веку мне не довелось более увидеть дома, двери которого так легко отворялись перед столь многочисленными и разнообразными гостями, не приходилось сиживать за таким громадным столом, казалось, перенесенным на кухню этого дома из замка Гаргантюа, не доводилось познакомиться с таким количеством интереснейших людей, которых, кроме этого стола, объединяли интерес к жизни и некоторое отсутствие интереса к успеху в рамках нормативного советского общества. За этим столом перезнакомились друг с другом представители самых разных отраслей науки и жители самых разных областей страны. Преобладание историков, филологов и биологов, учитывая род научной деятельности хозяев дома, было естественно, что никоим образом не создавало дискомфорта для физиков, медиков и математиков. Этот феноменальный стол, где бы он ни стоял – в столовой на Стремянной или в кухне на Рубинштейна – был истинным центром жизни и ежевечерне превращался в некий форум, где собирались постоянные друзья дома и приезжие, друзья друзей, бывшие ученики Марка Наумовича и Ирины Павловны, друзья их дочерей и так далее. Каждый вечер на этот стол выкладывались новости самого разнообразного характера, начиналось их обсуждение, сопоставление точек зрения; обобщения, гипотезы следовали друг за другом, дискуссии неизменно приобретали теоретический характер, и если отправной точкой было, к примеру, известие о том, что Твардовского «ушли» из «Нового мира» или о том, что на семейном торжестве партийного вождя Ленинграда перепившиеся гости перебили екатерининский фарфор, взятый «напрокат» из Эрмитажа, то закончиться беседа могла анализом драмы Еврипида или экскурсом в этимологию. Проблемы цитологии могли соседствовать в этих беседах с проблемами экологии или геополитики – и вдруг оказаться связанными с историей афинской талассократии и оценкой политики Перикла Фукидидом.

Можно сказать, что основной темой этого продолжавшегося без малого сорок лет коллоквиума была взаимосвязь всего, что есть интересного в истории и что способно заинтере-

совать человеческий разум, с главенствующим стремлением осмыслить жизнь своего века и свою собственную жизнь. Это никогда не декларировалось как цель, никогда не формулировалось как проблема, но это всегда присутствовало в атмосфере, царившей за этим столом, за которым все имели равное право быть выслушанными с уважением, и юмор – неизменный член присутствия в этом высоком собрании – никогда не превращался в насмешку, хотя нередко оборачивался истинно раблезианским хохотом. Это было маленькое открытое общество в одной отдельно взятой наглухо закрытой стране.

Конечно, возможность возникновения таких застольных обществ появилась лишь после того, как генерацию убийц в ЦК КПСС сменила генерация стяжателей и строгий режим в большой зоне был заменен на общий. Иначе все участники подобных коллоквиумов вынуждены бы были осмыслять связь между прошлым и настоящим за колючей проволокой великих строек коммунизма.

Я попал за этот стол вскоре после того, как закончился мой образовательный курс в малых зонах, и был сразу и совершенно очарован царившей там атмосферой. В центре Ленинграда, в трех минутах ходьбы от перекрестка Невского с Литейным, я оказался в самой настоящей и самой великолепной из «сушилок», какие повидал от хладных берегов луночного моря до тенистых дубрав мордовской земли. Здесь не сидели на корточках у железной печки под развешенными портянками, в сизой мгле махорочного дыма, не глотали из банки, идущей по кругу, разгоняющий цинготную оцепенелость мозга и худосочной плоти «чифирик», не мешали изящную российскую словесность с лагерной «феклой» – все было гораздо комфортабельнее и респектабельнее. И тем не менее это была «сушилка» – место, куда спешил промокший в котловане социалистических будней человек, чувствующий себя усталым рабом, лишенным надежды на побег, чтобы погреться у огонька в обществе близких по духу людей и потом выйти наружу спокойной походкой человека, у которого под ногами вновь твердая земля, а не слякоть.

Сказав, что свобода слова в задавленной страхом и залитой кровью казненных во славу коммунистического Аллаха стране родилась за колючей проволокой, я вряд ли выскажу

очень уж свежую мысль. Наверное, парадоксальность этого факта, на самом деле чисто внешняя, была отмечена уже не раз. Но в контексте разговора о разговорах в сушилках и на кухнях следует отметить, что у советского человека, проживавшего в большой зоне, были несомненно худшие возможности обрести внутреннюю свободу, нежели у заключенного, который уже пообвык жить в атмосфере полной обесценности человеческой жизни и мало-помалу утратил страх.

По природе своей человек – существо, наделенное совершенной способностью приспособливаться к изменяющимся условиям. Оказавшись внезапно и беспощадно вырванным из среды своего обитания и выброшенным на гигантскую, небывалую в истории свалку миллионов людей, обреченных на медленное уничтожение, нормальный человек не мог, как бы он внешне ни держался, сохранить самообладание – и, согнувшись, зажимал рукой сердце, как зажимает рану получивший удар ножом в живот.

Не чувствуя ничего, кроме безысходной тоски по жизни, канувшей в прошлое навсегда, он просто не мог смотреть на окружающий его мир безнадежности и отчаяния. Но проходили годы, и боль становилась глуше, а лагерная жизнь, поначалу казавшаяся горше смерти, оказывалась тоже жизнью. «Трудно сидеть только первые десять лет», – свидетельствует не без юмора лагерный опыт. Умение в казалось бы безнадежно проигранной ситуации посмотреть на себя с иронией – изумительнейшая способность человека. Это отнюдь не просто защитный механизм, как судят об этом психологи, склонные рассматривать психику человека как самонастраивающуюся систему, а разум – как результат эволюции инстинктов. Самоирония в подобных обстоятельствах – признак воскресения человеческого достоинства. Раздавленный обрушившимися на него несчастьями, человек может потерять лицо. Его еще не битое, не ломаное чувство достоинства слабовато, чтобы выдержать удар. Но в час, когда оно оживает, происходит переоценка ценностей в сознании, и вдруг обнаруживается способность не воспринимать свое личное горе уж чересчур всерьез – и усмехнуться над самим собой.

Среди заключенных, которых рыцарям с горячими сердцами и холодными головами не удалось стереть в лагерную

пыль, постоянно был в ходу черноватый юморок. Похлебав после лошадиной работы вонючей баланды, эти шутники не валились пластом на нары, чтобы дать желанный покой гудящему от усталости телу, а собирались в сушилках, чтобы в вольной беседе в своем кругу побыть самими собой – вольными людьми, лишенными свободы преступной властью. Это были лучшие часы суток в каторжной жизни. Разговоры могли идти о чем угодно, но только не о работе, не о том, как подгношить лишний кусок сверх пайки, не о слухах насчет амнистии. Обо всем, что относилось к сфере власти и благ, от нее зависящих, обо всем, что в поведении заключенных свидетельствовало о страхе перед властью, о надеждах на ее милости, о смирении с участью раба Гулага, среди этой отрицаловки говорилось с презрением и издевкой. Платоны Каратаевы и Иваны Денисовичи не были здесь в чести. Именно здесь, где по замыслу главнокомандующих строительством социализма должны были быть истреблены из душ или вместе с душами остатки свободомыслия, последние крупинки соли, не дающей схватиться намертво бетону единства партии и народа, именно в концентрационном лагере, этом самом гениальном творении социалистической архитектуры, в котором воплотились вековые мечты и голубые сны теоретиков и практиков превращения хаоса жизни в идеальное государство, именно в недрах этого великолепного учреждения стала возрождаться свобода мысли и слова. И от небитой, розовощекой эта воскресшая в преисподней свобода отличалась не только большей стойкостью, портившей кровь следователям ГБ, когда им приходилось иметь дело с повторниками, но более всего совершенной нечувствительностью к социальным иллюзиям.

Здесь необходимо оговориться. Отнюдь не всем без исключения обитателям красной империи было необходимо спускаться в ее преисподнюю, чтобы освободиться от рабской веры в кровавое божество социализма.

К примеру, Иван Петрович Павлов никогда и не попадал под растлившую душу народа власть и духовной свободы своей никогда не терял. Его бесстрашные слова к рейхсфюрерам ВКП(б) из письма в Совнарком от 21 декабря 1934 года – «...Вы напрасно верите в мировую революцию. Я не могу без улыбки смотреть на плакаты: “Да здравствует ми-

ровая социалистическая революция, да здравствует мировой Октябрь!» Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм...» – не могли дойти до тех, в ком еще можно было пробудить разум и совесть. Павлов не был единственным свободомыслящим человеком в стране. Люди, близкие ему по духу, исчислялись сотнями, возможно – тысячами, но они были трагически одиноки среди десятков миллионов рабов власти и рабов идеологии. Они находились в ситуации, о которой в том же письме Павлов сказал: «Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия... я всего более вижу сходство нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий... человеку, происшедшему из зверя, легко падать, но трудно подниматься. Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства».

Поэтому освобождение от власти советской идеологии как социальный процесс, а не как отдельные проявления духовного мужества, началось там, где ее лживость и бесчеловечность были наиболее очевидны, где страх перед советской властью уступил место ненависти и насмешке у одних, отвращению и презрению у других, поиску более человеческих идеалов у третьих.

Пришло время – и маленький усатый упырь скорчился в гробу, гигантский идол его, наводивший на страну ужас, осел, накренился и на третий год рухнул. Медленно, как после тяжкого наваждения, души людей, населявших большую зону «лагеря мира и социализма», стали выходить из оцепенения. И когда самый ушлый из наследников самого крупного душегуба логикой борьбы с сонаследниками был вынужден облечься в белые одежды народолюбца и выпустил недорезанных из малой зоны в большую, в числе сотен тысяч освобожденных по градам и весям империи разъехались тысячи питомцев лагерной свободы. И вскоре феномен лагерных сушилок трансформировался в феномен кухонь. По всей стра-

не, от Москвы и Ленинграда до Еревана и Новосибирска, стали собираться на этих кухнях любители вольной беседы, духовная отрицаловка большой зоны. Можно с уверенностью сказать, что безусловное большинство свободомыслящих людей второй половины века в СССР выросло в атмосфере этих прокуренных кухонь. И по крайней мере несколько десятков из их числа и по сей день считают, что кормящей матерью их нравственного мышления было общество, собиравшееся на кухне в доме Ботвинников.

В буквальном смысле слова кормящей матерью для всех, кто испытывал потребность подкрепить свою брентную плоть, была Ирина Павловна, каким-то чудодейственным образом успевавшая сочетать свою весьма и весьма заметную работу в Университете с совершенно незаметными непрерывными хлопотами у плиты этой феноменальной кухни. Она умела делать незаметным само свое присутствие, Марк Наумович же, напротив, частенько старался сделать незаметным свое отсутствие, когда он, пробормотав что-нибудь о необходимости отлучиться ненадолго по делам, связанным с изданием переводимой им книги, или к врачу, или по какому-либо другому подобного рода поводу покидал общество. Часто это означало, что он поехал отвезти деньги какой-нибудь бедствующей после ареста кормильца семье или похлопотать о трудоустройстве очередного вернувшегося из лагеря бедолаги, или с другой не терпящей огласки целью. Множество людей вспоминают о его доброте и отзывчивости.

Вопреки его желанию его отсутствие никогда не оставалось незамеченным по той простой причине, что вскоре после его ухода общий и интересный дотоле для всех разговор как-то терял оживленность, распадался на частные беседы отдельных пар и в конце концов иссякал; недавно увлеченные им собеседники начинали поглядывать на часы и вспоминали о других ожидающих их за порогом этого гостеприимного дома делах.

Редкостная способность Марка Наумовича сближать людей и делать их интересными друг другу находилась в очевидной и непосредственной связи с его способностью сближать и делать интересными мало или никак не связанные факты человеческой истории и человеческих судеб. При этом он нико-

гда не впадал в тон мэтра, и за любимым его квадратным столом не существовало места, которое чем-либо отличалось бы от других и могло быть названо возглавием. Его роль в общей беседе чаще всего сводилась к поддержанию, а не руководству ею. Он задавал вопросы, слушал, вставляя короткие реплики, иногда иллюстрировал высказанное собеседником приходившими ему на ум фактами, иногда сомневался, бурно спорил, искренне удивлялся, порой хохотал до слез, но никогда не оставался безучастным. Вероятно, веселость была врожденной чертой характера Марка Наумовича. Когда я с ним познакомился, ему было уже под пятьдесят, и я могу только предполагать, какой отпечаток оставили прожитые им полвека на его природном жизнелюбии и ироническом складе ума.

Историк – он знал много более других о трагизме человеческой истории; вечный изгой – он имел достаточно драматический опыт жизни; человек, нравственно мыслящий, – он в меру свою отведал горьких плодов рефлексии. Не все горести земные стали его уделом, но те, которые выпали ему, он умел переносить терпеливо и не теряя лица.

Скорее всего, он принадлежал к людям того рода, которые, переживая так же, как и все остальные, всевозможные беды и несчастья, более других стараются не поддаваться их тяжкому гнету, а будучи на людях, считают недостойным обнаруживать свое душевное неблагополучие.

Во всяком случае, даже самым близким ему людям трудно припомнить, когда бы он был мрачным и унылым. Настроения разлитого пессимизма и мизантропии, когда ему приходилось с ними сталкиваться, вызывали у него реакцию по большей части саркастическую, приставшую более клейменному каторжнику, нежели потомственному интеллигенту. От нее ощутимо пахло (особенно, если учесть, что такую же реакцию вызывали у него периодически охватывающие широкие круги российской общественности упования на благие перемены, долженствующие произойти вследствие смены козыря при очередной перетасовке карт в кремлевском игорном доме) дымком лагерной сушилки. Этот запах навсегда въелся в его манеру восприятия явлений общественной жизни.

Но и в заурядных житейских ситуациях, когда люди слишком драматически реагировали на обычные неприятности,

он «любил фразировать», как говорил о нем его старый друг, коллега и сотоварищ по жизни и судьбе, Михаил Борисович Рабинович. Вот один случай из тех, что происходили с М. Н. более или менее регулярно.

Конец рабочего дня. Переполненный троллейбус судорожными рывками ползет от светофора к светофору по забитому транспортом и полурасплавленному июльским солнцем Невскому. Теснота, духота, глухой ропот, подавляемый сознанием безвыходности ситуации и бессмысленностью возмущения.

Марк Наумович с внуком Романом стоят на задней площадке, прижатые к окну против дверей. Это не мешает М. Н. сохранять привычную осанку. Его высокий рост, чуть закинутая назад седая голова, покоящаяся на трости рука свидетельствуют не о старческой немощи, а о достоинстве старости.

Стоящий рядом невысокий средних лет человек шумно вздыхает и говорит, глядя на М. Н.:

– Ведь что делают?! Понаставили этих светофоров на каждом шагу – ни пройти, ни проехать! Им бы только порядок, а на людей им наплевать! А разве это порядок, если люди мучаются? Издеваются над народом, как хотят, что – прежде, что – нынешние!

Марк Наумович, очнувшись от своих мыслей и оценив ситуацию, говорит своим глубоким, звучным голосом:

– Действительно, безобразия! И куда подевались мальчишки с рогатками? Перебить бы все светофоры, и делу конец!

В троллейбусе на мгновение становится тихо, потом прыскают со смеху две девчухи, баском хохотнул кто-то у дверей и гомон голосов вновь заполняет салон. Но тональность у него теперь другая, в общем говоре слышны оживленные голоса и смешки. Смеется и сосед М. Н., подняв к нему простоватое лицо:

– А что? Так и надо! Школьников созвать на субботник, и чтоб все с рогатками приходили.

– Вот уж порядок будет, так порядок! Хорошо надумали – вторит ему сидящая рядом пожилая женщина.

Марк Наумович удовлетворен. «Давай, Рома, пробираться к выходу, – говорит он внуку, – а то они в самом деле начнут бить стекла, а зачинщиками окажемся мы с тобой».



Эпизод пустяковый, но в нем очень отчетливо звучит стиль и сказывается жизненная позиция Марка Наумовича. Ее можно попытаться очертить (сам он никогда этого не делал) двумя максимами.

В жизни вообще и в людях в частности много хорошего и интересного. Главное – это, а не скучная и бесчеловечная правда человеческого существования. Человеку, чтобы это главное стало реальностью его жизни, нужны постоянные усилия ума и души. Экономя умственную и душевную энергию, он теряет ее и не может состояться как человек.

Поскольку лучшие свойства человека проявляются только в результате его индивидуальных усилий, торжество справедливости достижимо в весьма отдаленной перспективе. Поэтому, не тщаь «сразить противоборством море смут», надо иметь мужество переносить бедствия и тяготы судьбы, не унижая своего человеческого достоинства.

У этой простой и ясной жизненной позиции, имеющей опору во всей истории нравственного мышления от Сократа до наших дней, существует не менее простая и убеленная сединами тысячелетий оппозиция, заключающаяся в оправдании умственной лени и равнодушия сердца тем, что все – гнусно и мерзко и не имеет никакого смысла.

Противоречие это старо, как мир, и коренится не в различии образов мышления, а в различном отношении к жизни: благодарном и неблагодарном. И первое, видимо, от Бога.

При всей своей обретенной с годами терпимости М. Н. не мог выносить унылой покорности с привычкой клясть жизнь и судьбу, поносить соседей и начальников, транспорт и погоду, молодежь (или стариков) и женщин (или мужчин), весь мир и, понизив голос, верховного властителя. Вековечный стон российского образованного общества «Обрыдло все» вызывал у него острое желание оборвать этот скулеж любым не уголовным способом, вылить, например, за шиворот страдальцу кружку холодной воды.

Замечательно, что все это «фраппирование», все это озорство старого джентльмена всегда направлено было против самого духа ложного отчаяния или ложных чаяний, но никогда – против чающего или отчаявшегося. Каким-то образом М. Н. удавалось, подвергая язвительной насмешке высказан-

ное, не уязвлять собеседника. Может быть, все дело было в тоне, безжалостно насмешливом в первом случае и дружеском, без тени насмешки, во втором. Этим как бы совершенно отчуждались от человека несоответствующие его уму и достоинству слова.

Во всяком случае, припомнить хотя бы одну жертву саркастического остроумия Марка Наумовича мне представляется делом крайне затруднительным, если не безнадежным. Наоборот, каждый чувствовал себя умнее и говорил раскованнее, когда Марк Наумович сидел за столом, и то, что он говорил, опять-таки благодаря присутствию Марка Наумовича, становилось интересней и осмысленней для слушателей. Нет ничего благотворнее для общения людей, чем доброжелательный, искренний интерес друг к другу.

Когда читаешь воспоминания Марка Наумовича о тяжелейшем времени в его жизни – «Камера № 25», – поражаешься, что вспоминает он не столько о своих собственных переживаниях, перенесенных пытках и понесенных утратах (как это имеет место в большинстве мемуаров), сколько о людях, с которыми свела его лихая година. А ему было тогда всего двадцать – возраст, когда сознание человека наиболее эгоцентрично.

Ни из литературы, ни из жизни мне неведом человек, круг близких и знакомых которого был бы обширнее, чем у Марка Наумовича. Он знал, помнил и поддерживал добрые отношения с невероятным множеством лиц, храня при этом в своей памяти бесконечное количество подробностей, касающихся обстоятельств их жизни, родственных связей и характера взаимоотношений. Это был круг его жизни, его мир, в котором он был не только связующим началом, но и некоторым центром притяжения и влияния. Трудно сказать, случались ли такие дни, когда из разных концов этого мира к нему не доносились бы телефоном голоса, просящие ответа на тот или иной злободневный вопрос, совета, как лучше решить практическую задачу, рекомендации к кому-то, просто ищущие утешения в печальных обстоятельствах или жаждущие узнать его мнение о возбудившей в обществе интерес статье, книге, телепередаче. И даже в те дни, когда он был тяжело болен, лежа в постели он оставался деятельным участником

событий, происходящих в его мире. Он объяснял и советовал, рекомендовал и договаривался, связывал людей, находящихся на разных концах света, знакомил тех, кто мог помочь, с теми, кто нуждался в помощи. Откладывать в сторону рукопись, повествующую о событиях минувших эпох, и входить в обстоятельства жизни сегодняшнего дня было для него столь же привычно, как снимать очки и брать телефонную трубку. Этого требовала жизнь – и это было его образом жизни.

По мере того как любимая максима Марка Наумовича – «Человек должен состояться» – реализовывалась в его собственной жизни, все явственнее проступали черты ее типологического сходства с образом жизни «на площади» его любимого героя – Сократа. И подобно тому как принципы и стиль сократовской пайдеи зиждились на его вере в разумные основы жизни, так и педагогика Марка Наумовича всем своим содержанием, методами и стилем коренилась в главном, не иссякающем интересе всей его жизни – интересе к живым людям сегодняшнего дня и к людям иных эпох и народов, интересе ко всеобщей истории человечества. Сам этот всеохватывающий интерес предполагал наличие в его глубине веры в некий величественный смысл человеческой истории. Да и как можно было испытывать и пронести через всю жизнь интерес к бессмыслице? Скорее всего, эта никогда не исповедовавшаяся им открыто вера существовала в душе его скрыто и неотделенно от веры в человеческое достоинство.

С юных лет он уверовал в превосходство марксистского подхода к пониманию истории, разделял эту веру с веком и обществом, в котором жил, и со своим учителем, бывшим для него образцом ученого и человека, – Соломоном Яковлевичем Лурье. В течение долгих лет в своем постижении истории он стремился отыскивать под наиболее сложными и трудно исследуемыми общественными процессами, под их идеологическими одеждами политэкономический субстрат, их определяющий и объясняющий. Однако с годами, по мере умножения и углубления знаний, становится все труднее убеждаться, что отношения, в которые люди вступают для производства средств жизни, всецело определяют духовное

содержание их жизни во всем его разнообразии. Вящая трудность этой задачи и очевидная неоднозначность нравственных итогов классовой борьбы заставили его расширить свой подход.

Отличие исторического взгляда на вещи от псевдоисторического в том, что последний ищет объяснения происходящих событий только в «нужном» направлении, соответственно выстраивая и события прошлого. Здесь идеология торжествует над исторической истиной; ум подобного историка «всегда в дураках у сердца». Непременным условием мышления подлинно исторического является бескорыстность историка, поиск которого максимально свободен от желания найти «нужное» объяснение, от его социальных, национальных, вероисповедальных и прочих предпочтений. Для Марка Наумовича знать и постигать историю людей и народов не было способом зарабатывать на жизнь, равно как и поприщем для стяжания научных званий и почестей. Это было насущной потребностью его ума и души. Поэтому, придя с годами к убеждению, что мировая историческая наука не располагает запасом знаний, достаточных для выработки единой всеобъясняющей концепции, он усвоил тот честный взгляд на вещи, который удерживает мыслителя от производства теорий, не обеспеченных золотым запасом, и ту мудрую терпимость, которая позволяет с искренним интересом рассматривать историю с точек зрения, значительно отличающихся от собственной. То живое любопытство, которое Марк Наумович стал проявлять в свои поздние годы к некоторым библейским сюжетам, к объяснению внутренней связи десяти заповедей или к толкованию отдельных текстов «Книги Екклезиаста», свидетельствовало, что эти ранее просто не существовавшие для него темы стали ему любопытны – не более того. Долгий путь познания привел старого историка к той подлинно общечеловеческой мудрости, которой нельзя достичь ни за счет большой учености, ни вследствие совершенной объективности, а только лишь силой искреннего «благоговения перед жизнью», как назвал в нашем веке Альберт Швейцер это высшее проявление человеческого духа. От очень многих людей, которые хорошо знали Марка Наумовича, я слышал почти одни

и те же слова: «Он был очень добрый человек, он всегда всем помогал».

Случилось так, что судьба вознаградила его за верность своему призванию и ему была предоставлена трибуна – после всех преследований это было так невероятно, что казалось чудом – в святая святых петербургского храма искусств: в Эрмитаже. Воля Господня в этом мире действует преимущественно через людей, хотя они об этом чаще всего не догадываются. В конце 50–х годов, когда ветерок оттепели стал ненароком залетать в отдельные административные кабинеты, отдел культурно-просветительной работы Эрмитажа возглавила Ольга Михайловна Персианова, некогда слушавшая лекции молодого тогда Марка Ботвинника и, видимо, сохранившая о них добрую память. По ее инициативе в лектории музея, размещавшемся в Эрмитажном театре, был создан университет истории изобразительного искусства, в который для чтения лекций стали приглашаться известные специалисты из разных научных и учебных учреждений города. В числе таковых однажды поднялся на кафедру, окруженную девятью музами, и Марк Наумович, поднялся для того, чтобы не покидать ее почти до конца своих дней. Несколько раз в год в течение более четверти века отправлялся он, постукивая тростью, на Дворцовую набережную, чтобы рассказать своим слушателям – специалистам-искусствоведам, студентам и школьникам – об исторических обстоятельствах, способствовавших рождению бессмертных творений искусства былых времен. Впервые в своей жизни он пользовался практически никем и ничем не ограниченной свободой в выборе материала, его осмыслении и стиле изложения. Он чрезвычайно это ценил и тщательнейшим образом готовился к лекциям, совершенно не интересуясь оплатой своего труда, вполне символической. И успех этих лекций был постоянным и полным, невзирая на значительную разницу в подготовленности между слушателями.

Он говорил всегда свободно и увлеченно, почти не пользуясь записями, не подавляя аудиторию обилием фактов, дат и имен, неизменно сохраняя тон и форму живого рассказа, но сохраняя также при этом цельность плана и четкость формулировок основных мыслей. Особую яркость и жизненность

его лекциям придавала излюбленная им и свойственная его складу ума манера создавать эффект присутствия, делая события далекого прошлого близкими воображению слушателей посредством постоянного соотношения реалий древности с сегодняшним днем и за счет метафоричности языка.

«Для наших современников», – говорил он, – «морально-философское содержание мифов не менее важно, чем их сюжетная канва», – и, разворачивая перед аудиторией гирлянды аттических, фиванских и других мифов, показывал, как их связывает роковой канвой мотив кровной мести, губящей одного за другим героев древней Эллады, как племенные законы уходящей эпохи торжествуют над интересами возникающих полисных обществ. Рев Калидонской охоты звучал в его изложении предвестием атакующего рева дорийских полчищ, которые превратят в руины города и культуру своих ахейских родственников, не сумевших преодолеть племенной розни (как сумеют это сделать пятью столетиями позже их потомки перед нашествием персов). И проведя широким взмахом руки линию от роковой любви Мелеагра к ненависти «наших» в наши дни, он сбрасывал псевдопатриотические одежды с первобытной стадной ксенофобии и брал в свидетели миф, показывая, что во все времена завистливая злоба серых людей была губительней чумы для всех, кем красна была жизнь народа, для сохранения мира в нем и для его будущего.

На необъятном полотне всеобщей истории Марк Наумович Ботвинник стремился восстанавливать распавшуюся связь времен, соединяя красными нитями краткие звездные часы торжества человеческого достоинства. И его призыв к изучению именно всеобщей истории был исполнен верой в то, что коль скоро у человечества есть будущее, оно едино и неделимо, как едины и неделимы по природе своей разум и совесть человека.

Свой путь через сумрачные просторы нашего века он прошел, руководствуясь ими, и старался, как мог, «поддерживать мерцающий светильник человека». Кто может сделать лучше, пусть сделает.

## ЖИЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Сорок лет назад меня – первокурсника историко-филологического факультета – окликнул на улице преподаватель античности Марк Наумович Ботвинник, которого до этого я видел только на лекторской кафедре. Явно смущаясь, Марк Наумович сообщил, что факультетское начальство выразило пожелание, чтобы он завалил меня на экзамене. Он, разумеется не намерен этого делать, но не ручается за других преподавателей, которым, сами понимаете, тоже выразили это же начальственное волеизъявление... С такой увертюрой мы, сидя на уличной скамейке, еще около часа откровенничали о щекотливых разностях, и вот на этой обоюдной доверительности стоит особо остановиться.

Что касается меня, тут все ясно. Была хрущевская «оттепель», когда у многих молодых людей, волею судьбы лишь понаслышке знавших, что «раки зимуют на Колыме», всю развязались языки. А если к этому добавить игристое молодое вино в жилах и вольное парение мыслей, не отягощенных жизненным опытом и знаниями, моя откровенность с почти незнакомым человеком не составляла никакой загадки.

Другое дело – откровенность Марка Наумовича с одним из примерно двухсот студентов, сидевших в огромном старинном зале на его лекциях. Как я уже позднее узнал, Марк Наумович лично отведать тюремно-лагерной пайки с надлежащими «довесками», был отцом двух тогда еще малолетних дочерей и вполне ясно видел эфемерность хрущевского либерализма. Зачем же ему понадобилось рисковать, предупреждая какого-то мальчишку, чьи вольности, вызывавшие начальственное недовольство, явно диктовались только беззаботностью, бравадой и легкомыслием?

Право, было бы вполне достаточно, если бы Марк Наумович, ни о чем не предупреждая, просто как бы не сумел выполнить начальственное пожелание, но при этом сохранил весь полагающийся декорум. Между прочим, именно так поступил преподаватель детской литературы, поставивший мне «отлично», а о том начальственном пожелании упомянувший лишь несколько лет спустя, когда я совершенно случайно встретил его на пярнуском пляже. Пользуясь советской терминологией про него можно сказать, что он «не оправдал доверия». Но предупреждать – это уже подпадало под «злоупотребление доверием» и даже под «преступное сообщничество», стань начальству известно о такой нелояльности к нему. А начиная разговор со мной, Марк Наумович, очевидно, не сомневался, что известно станет, и даже очень скоро. Естественно было предположить, что восемнадцатилетний мальчишка – по легкомыслию, неопытности или безответственности – просто проболтается, ну, хотя бы сокурсникам. При этом следовало учитывать и то пикантное обстоятельство, что факультетское начальство было, очевидно, лишь передаточным звеном в исполнении указания понятно каких партийно-охранительных органов. И Марк Наумович, конечно же, вполне учитывал эту сторону нашей взаимной доверительности.

– А вы не боитесь, что мое предупреждение – это попытка войти в доверие, и я донесу о ваших речах? – под конец разговора спросил он с явным любопытством к хорохористому «вольтерьянцу».

– Нас только двое, – дерзко отвечал я, – если припрут, скажу, что ничего не говорил, и вы все придумали.

Марк Наумович не по рассказам знавший, что такое «конвейерный» допрос, конечно же, видел туманность моих представлений о дознании, но ответом, кажется, остался доволен.

За последующие десятилетия нашего частого и тесного общения мы никогда не вспоминали этот эпизод. Мне казалось вполне очевидным, что в этом случае проявилась его общая позиция, которая заключалась в том, что на тотальное начальственное «цыц!» и «нишкни!» Марк Наумович отвечал столь же тотальным кукишем.



Иногда эта тотальность противостояния доходила до нелепости. Как-то я попенял ему, что он «зайчит» в общественном транспорте.

– Ну зачем вам это безбилетное озорство?

– Надо, – улыбнулся Марк Наумович. – Сохраняю «спортивную форму».

Это означало для него постоянную готовность не вовлекаться ни в какие установленные сверху игры. Он считал, что достаточно уступить в мелочи, а дальше уже само пойдет и незаметно, исподволь, постепенно докатится до подлости, предательства, самоуничтожения и обесчеловечивания. Он не проповедовал, а просто сам неукоснительно следовал этому принципу, что – наряду со многим другим – создавало вокруг него нравственную атмосферу, влиявшую на окружающих. Поэтому я могу сказать про Марка Наумовича, что для меня он был, в первую очередь, духовным наставником, воспитателем... Насколько он преуспел в отношении меня – отдельный вопрос. Но со своей стороны могу свидетельствовать, что я старался, сознательно или бессознательно, подражать ему и соответствовать.

Как-то я оказался на спектакле по пьесе Михаила Шатрова «Большевики». По ходу театрального действия сподвижники Ленина и он сам, обнявшись, запевали «Интернационал». От спектакля к спектаклю в момент этого партийно-театрального оргазма, очевидно, с подачи клакеров, весь зрительный зал вставал и подпевал актерам... Но, закусив удила, я не поднялся и тем более не запел. Похоже – один-единственный в огромном зале! Рядом, недоуменно и осуждающе поглядывая на меня, стояли и пели. Было очень трудно не уступить этому почти физическому давлению взглядов. Но с какой-то сосущей тоской в желудке я все-таки молчал и не отрывался от кресла, стараясь при этом выглядеть совершенно спокойным. Нет – в тот момент я не вспоминал Марка Наумовича и не думал тогда о том, как бы он поступил на моем месте. Просто, подобно ему, я не хотел вовлекаться в чуждую мне игру, которую навязывал верноподданнический спектакль. Мелочь? Ерунда? Стоило ли ершиться по пустякам? Но таким было психологическое поле вокруг Марка Наумовича... И выше рассказанный театральный случай не столько про меня, сколько про него.

Аналогичный случай был на праздновании Нового года в Доме архитектора. Тогда – во время исполнения Гимна Советского Союза – я тоже не встал и даже своим вызывающим примером усадил человек десять, отмечавших новогодье за тем же праздничным столом. В зале было пятнадцать-двадцать столов, и за остальными столами привычно стояли, но наш стол нагло сидел... Мои новогодние сотрапезники опосредованно оказались в том же психологическом поле Марка Наумовича. Как круги на воде, расходилось его нравственное наставничество, и уже на втором или третьем кругу люди могли даже не знать имени Марка Наумовича Ботвинника, но по сути дела находились под его влиянием.

Его «не играю» проявлялось и в других моих поступках по значительно более серьезным поводам.

Однажды я получил письменный вызов в Большой дом. Указывался день и час явки, а также номер кабинета и, кажется, фамилия следователя, но не было никакого упоминания о сути следственного дела. Разумеется, я страшно струсил. Первым делом постарался раззвонить, что меня «потянули», чтобы все, кому надо, были начеку. А затем, помаявшись, решил никуда не идти: вот если силком на казенных колесах, тут уже воленс-неволенс, но своими ногами по чуждой мне нужде не пойду. Не хочу в этом «детективе» играть – и все тут! К сожалению, не могу вспомнить, как Марк Наумович расценил этот мой поступок, явно навеянный его позицией.

И еще один пример моего подражания наставнику. Напомню, что цветение самиздата проявлялось опусами самой разной пробы. Наряду с мемуарами Евгении Гинзбург и Надежды Мандельштам, сочинениями Александра Солженицына и Варлама Шаламова, появлялось довольно много низкопробщины, за распространение которой, впрочем, били так же наотмашь и сразу, как и за самиздатскую классику. Поскольку я профессионально владел пишущей машинкой, меня однажды попросили размножить несколько страниц какого-то антисоветского обличения. Решительно не могу вспомнить, о чем шла речь, но хорошо помню, что опус мне очень не понравился. Тем не менее, я его перепечатал. Почему? Казалось бы, так удобно было отказаться – мол, не созвучно

это мне психологически и мировоззренчески, а потому – извиняйте! Однако имелась и другая сторона того же дела. Ведь я, кажется, за право каждого на свое мнение. А раз так, не будет ли аргумент о несозвучности просто благовидным прикрытием страха погореть, да еще – на дерьме. В конце-то концов, власти хотели именно этого – запугать до саморегулируемой покорности. И если бы я отказался, то объективно подыграл бы той «драматургии», которая сочинялась и режиссировалась торжествующей «вохракратией». Но я поступил подобно своему духовному наставнику, предупредившему меня о том начальственном пожелании только потому, что ему претила затея, к которой его хотели принудить страхом, по меньшей мере, за собственное служебное положение.

Нежелание Марка Наумовича играть драматургию советской жизни проявлялось и в его отказе от какой-либо служебной или научной карьеры. Вообще-то совсем нигде не служить было невозможно. Не говоря о необходимости что-то зарабатывать, непричастность к какой-либо официальной трудовой деятельности каралась законом о тунеядстве. И Марк Наумович подвизался на низкооплачиваемых и непрестижных службах, которые никак нельзя было использовать в качестве рычагов давления на него. Так, много лет до выхода на пенсию он преподавал латынь медикам. А в своей литературной работе старался заниматься аполитичными делами, как то: изданием «Мифологического словаря», сотрудничеством в «Исторической энциклопедии», пересказом для детей Плутарха и тому подобным. Но судить о нем следует не по печатным материалам, появившимся за подписью или при содействии Марка Наумовича Ботвинника, и не по преподаванию им истории древней Греции и Рима или латыни, а по тому, как он насаждал, защищал и распространял донкихотскую нравственность в противостоянии отнюдь не ветряным мельницам.

## «ЛАТИНИСТ»

Октябрьский вечер, 1954 год. В узком, длинном, высоком, как всегда темном коридоре Академии Художеств несколько энтузиастов классического образования ждали первой встречи с преподавателем латыни. Тут все требует объяснения. Нынче латинский язык преподают, где не лень (не знаю, правда, с каким результатом). А латынь в Академии Художеств (официально Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина) середины пятидесятых – это невероятное происшествие. Я учился на факультете Теории и Истории искусства (со смешной аббревиатурой ФТИИ). Наш курс был маленький, случайный, недружный, в общем, не очень счастливый. Мое поколение плохо вписалось в жизнь. Может быть, потому, что никого не учили так плохо и приблизительно, как тех, кто стал студентами в 1952 году.

История искусства сводилась к немудреной мысли: искусство-де мучительно плелось к реализму, вершиной которого стал, естественно, реализм социалистический. Надо было убедить студентов, что Решетников в чем-то выше, скажем, Рогира ван дер Вейдена, а делать это мало кому хотелось, да и верилось с трудом. О критике и говорить не приходится: все советское было либо хорошим, либо совсем хорошим. Чужое, точнее чуждое, уже не критиковалось, а разоблачалось. Профессии нас не учили, да и не умели учить.

Каждый курс открывался сакраментальными словами, которые иные преподаватели смущенно, иные – равнодушно, иные – истово произносили касательно того, что проблематика и содержание их предмета изучается в русле указаний тов. Сталина, изложенных им в гениальном труде «Марксизм и вопросы языкознания». Очень бы не хотелось, чтобы читатель увидел в последнем моем пассаже иронию или, сохрани

Бог, осуждение моих учителей. Однако – помните, у Шварца:

– Но позвольте! Если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили. – Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?

Что и говорить, среди наших преподавателей (еще больше среди студентов) хватало первых учеников.

Больше года прошло после смерти Сталина. Но мы все еще жили в тени фантома так же, как прежде – в тени живого вождя. А мир-то, он уже становился иным, только мало кто и, тем более, мы, догадывались об этом. Оставались все теми же, погруженными в невеселый мир тогдашней угрюмой, но отчасти все же счастливой юности (уже просто потому, что то была юность), с казарменными лекциями, наивными надеждами, просветами знаний. Менее всего думая, что история начинает поворот. И уж на нашем «учебном процессе» этот поворот никак не сказывался.

По-прежнему «первые ученики» удачливо жили и преуспевали в гуманитарной «идеологической» сфере. Большая часть академического обучения отдана была «Основам марксизма-ленинизма» и родственным дисциплинам. Эти курсы вели люди с вовсе неглупыми, навсегда засекреченными лицами, люди, способные наизусть цитировать целые страницы из трудов основоположников. Неизменно одетые в неброские темные костюмы, в темные рубашки с темными галстуками, они жили в мире необсуждаемых мнимостей – мнимостей, которые, несомненно, превалировали над реальностью. За ними стояла незримая власть, они были прямыми инструментами верховного волеизъявления. Их боялись, и было за что.

Все же я полюбил Академию. Тускнеющий блеск лекций немногих старых профессоров. Само здание, его ничем не сломенную архитектуру, невесомый, грациозный и строгий вестибюль, вечно облупленные, длинные, как линии Васильевского острова, коридоры, чудесную библиотеку с приветливыми, влюбленными в книги полунищими интеллигентными дамами-библиографами, с огромными зелеными абажурами. А «Нижний циркуль» – музей скульптуры! Дивной красоты слепки с лучших статуй мира, сделанные пенсионе-

рами Академии. Гипс покрывала легкая пыль, похожая на настоящую патины, пахло там холодом и стариной, казалось – античностью.

Обо всем этом говорю я относительно подробно, поскольку вхождение в этот мир было естественной вехой на пути к знакомству с Марком Наумовичем.

Встречи с людьми, соединявшими в себе простоту, равнодушие к суете и интеллектуальное патрицианство – редкая удача. Их было немного, о некоторых я уже написал, о других собираюсь писать. В числе этих людей – и Марк Наумович Ботвинник – тот самый преподаватель латыни, которого мы все еще ждем в коридоре. Человек странной судьбы и странного нрава, чья жизнь – с одной стороны так типична для многих интеллигентов его поколения, а с другой – вовсе не схожа с их жизнью, да и вообще – ни с чьей.

Этого факультатива по латинскому языку я добивался долго, проявив даже некоторое коварство. По западному искусству ни курсовых, ни дипломных работ писать не разрешали. Нельзя и все. Помню лишь один диплом – «Тема труда в творчестве малых голландцев». И знание языков почиталось излишним. В институте они преподавались из рук вон плохо, как пение в школе. На мою просьбу о факультативе по второму языку мне ответили буквально: «Из вас готовят специалистов по советскому искусству, поэтому языки вам не нужны». Опять-таки по Шварцу: «С тех пор как его величество объявил, что наша нация есть высшая в мире, нам приказано начисто забыть иностранные языки». А языками я увлекался тогда с болезненной страстностью.

Единственно, чем можно было заняться, кроме отечественного искусства – античностью. Здесь-то я и схитрил. Решил, что буду писать о древности – занятие почтенное, а под это дело можно, во-первых, несколько дистанцироваться от советской проблематики, а во-вторых, выхлопотать даже факультатив по латинскому языку, против которого никто в Академии возражать не станет. А там, как Бог даст. Классическое образование всегда пригодится. И в самом деле, так все и вышло, к тому же именно пристрастием к латыни я и обязан знакомством с человеком, сыгравшем в моей жизни вроде бы и не очень большую, но по сути – важную роль.

Ждали мы долго. Таинственный латинист сильно опаздывал, а когда появился, нас озадачил. Представлялось нечто почтенное, из «раньшего времени» («латынь из моды вышла ныне»). Однако вместо благородного профессора, появился не старый (ему было тогда тридцать семь) человек, одетый не так, чтобы хорошо, но в давно ставшем редкостью крахмальном воротничке. Тонкий насмешливый голос, улыбка, несколько даже глумливая. Что-то в нем было отстраненное, словно ничего он не принимал всерьез. Если бы тогда я читал Булгакова, мне почудилось бы в Марке Наумовиче нечто от персонажей свиты Воланда. К тому же, он был как-то не по возрасту и легкомысленно надменен. Поспрашивав, чем и с кем мы занимаемся, он, не церемонясь, отозвался обо всех уничижительно, о наших античниках сказал, что они «ничего не знают» (по масштабам серьезной науки, он был прав, но уж очень презрительно это было сказано).

Вовсе не смущенный собственным опозданием, он не произнес никаких официальных любезностей, но вместе с тем решительно отменил всякую (со своей стороны) фамильярность, объявив по старой университетской традиции, что будет называть нас только по имени и отчеству. Поскольку одна из будущих латинисток была эстонкой, а другая носила слишком экзотическое имя, обе они поначалу оказали яростное сопротивление, которое наш новый учитель решительно проигнорировал. Уже первое впечатление было странным, по правде говоря, не слишком приятным. Мы жили в жесткой структуре привычных клише, и непривычное – раздражало. Марк Наумович не принимал условностей. Точнее, у него была совершенно не стандартная собственная, как бы мы сейчас сказали, коммуникативная система.

В институте, по-моему, мы занимались лишь однажды. Марк Наумович предложил нам уроки на дому. Это было любопытно, и мы согласились с удовольствием.

Жил он на Стремянной в барской, огромной, по моим тогдашним понятиям, квартире. И сам Марк Наумович, и его дом – все это совершенно не совпадало с моим представлением об ученом-интеллигенте. Ни в нем самом, ни в его комнатах не было и намек на ту расхожую респектабельность, которой алкала моя истосковавшаяся по комфортабельно-бур-

жуазной жизни душа. Мы тогда жили в страшной коммуналке, и было что-то оскорбительное для меня в этом презрительном беспорядке, в неуюте просторной квартиры с прекрасной мебелью – словно люди не ценили того, о чем и мечтать не могут другие. В этих моих мыслях было, несомненно, нечто мелкое, но было оно, было.

Марк Наумович показался мне поначалу человеком слишком резким и циничным (впрочем, и потом, когда я его оценил и к нему привязался, приятным он не сделался – как все нестандартные люди был «неудобен»). Наверное, это был первый мой знакомый, если и не диссидент, то откровенный антисоветчик. Авторитетов для него почти не было, и такой нигилизм мне был неприятен. Марк Наумович, не имевший никаких степеней и латынь знавший не идеально, любивший светскую болтовню, как мне казалось, куда больше своего предмета, виделся мне человеком поверхностным и не добрым. Мне не нравились долгие разговоры вместо занятий, презрение к мнениям других (а уж к нашим, студенческим – тем паче), кокетливый скепсис, странный неуют интеллигентнейшего дома, лампочка без абажура, ввернутая в красивый бронзовый настольный светильник, какая-то чемоданная обстановка.

Не сразу я узнал, что передо мной – изломанная судьба. Марк Наумович, как многие неосторожно-либерально мыслящие интеллигенты, попал в студенческие довоенные годы в тюрьму, но, к счастью, просидел недолго. На академической его карьере был поставлен крест, никакой диссертации он не защитил, был, к тому же, преданным учеником Соломона Яковлевича Лурье – знаменитого античника, вынужденного уехать из Ленинграда во Львов. У М. Н. был, конечно, раздраженный перехлест, как, позднее, у большинства диссидентов, иными словами, убеждение в том, что ежели человек не сидел и чего-то добился официально, то это, по определению, сомнительно. Позднее мне не раз казалось, что какие-то мои успехи, публикации, степени его раздражали. Избави Бог, это не было завистью – уж кто, как не Марк Наумович, знал цену степеням и самому себе. Но за всяким внешним успехом он склонен был видеть какие-то уступки, конформизм; отсутствие тернового венца словно бы делало че-



ловека в его глазах неполноценным. А ведь он при этом был добрым, ко мне относился хорошо. Но едко. Какая-то была в этом смердяковщина, но возвышенная и выстрадавшая. Марк Наумович действительно знал больше наших преподавателей, главное, знал иначе. Но это я понял не сразу, его глубочайшие и серьезнейшие познания были эссеистичны, порою приблизительны. Но высоко профессиональны. И совершенно свободны. Во многом этот дом с тьмой книг и решительным презрением к быту был мне мил. Только теперь я понимаю, чего мне в нем не хватало – терпимости. «Сомнение – начало мудрости», – справедливо утверждают французы, суждения же Марка Наумовича были безапелляционны. Видимо, так он общался со всеми, кто не входил в круг близких друзей и тех немногих, кого он полагал равными себе.

Я не понимал еще – откуда это почтительное и нежное уважение, которым был окружен Марк Наумович. Ведь я впервые встретился с человеком, пережившим лагеря. И с тем особым бережным отношением, что вызывает такая судьба у друзей и близких. Ему прощалось многое, что не простилось бы другим, и слова «Марк – человек талантливый» обязательно присутствовали в разговоре о нем, как некая индульгенция. Он был чертовски необязателен, порой ленив, более всего любил «лежать и читать художественную литературу» (его собственные слова).

Что и говорить, он был не просто обижен – оскорблен судьбою. Навсегда перечеркнутая университетская карьера вынудила его преподавать латынь в каком-то медицинском училище, что ничего, кроме раздражения, вызывать у него не могло. По счастью, он нашел себя в сочинении того, что называется «научно-популярными книгами» и что на деле, поверьте, куда более тяжкое дело, нежели сочинение просто научных трудов. Потому что для того, чтобы написать, простите за нормативный термин, «научно-художественную биографию замечательного человека» надо знать все то же, что для «научной монографии» и еще много чего другого – о быте, нравах, реалиях. Обо всем том, научную и философскую ценность чего доказал в своих книгах Юрий Михайлович Лотман и о чем в пятидесятые годы еще не задумывались.

Когда-то учитель Марка Наумовича Соломон Яковлевич Лурье написал чудную книжку – «Письмо греческого мальчика». Это был короткий занимательный рассказ, так изящно наполненный информацией, что дети, прочтя его, влюбились в древность и даже в науку о ней. Причуда большого ученого подала ученику пример свободы выбора. Марк Наумович стал писать нечто вроде «занимательной истории». Тогда печатали так называемые «Книги для чтения по истории Древней Греции (Египта, Рима)». Рассказики для них писались достаточно убого, ходила даже пародия на них, примерно такая: «Клянусь Зевсом, такой жары я не припомню, – проворчал старик Аллиад, вытирая разгоряченное лицо полой хитона. Производственные отношения в Греции V века до н. э. развивались в тесной связи с общественно-политической эволюцией».

Марк Наумович был действительно талантлив во всем, и особенно он был талантливым читателем. Чтение отточило его вкус и требовательность настолько, что стиль и жанр он чувствовал безошибочно. Он стал писать – с некоторой настойчивой, я бы сказал, простотой, емко и прозрачно – короткие рассказы для этих «книг для чтения». Он не стремился к «изобразительной прозе», к постоянной образности, искал отчетливости, старался дать максимум информации без претензий на беллетристику и чистоту стиля, без претензий на его особливость.

Года два наше общение с Марком Наумовичем ограничивалось нерегулярными уроками, половина которых посвящалась просто трепотне, но трепотне высокой пробы, когда во всех суждениях старшего собеседника – живая, небанальная мысль. Со временем я научился отличать плевелы от злаков. Перестал обращать внимание на постоянный негативизм, слышал то главное, что от другого бы не услышал никогда. Впервые я увидел М. Н. взволнованным и без всякой маски после доклада Хрущева на XX съезде. «Я дожил до этого», – сказал он. Может быть, тогда впервые я понял, насколько страшно и серьезно то, о чем я знал, но думал как об абстракции. Я увидел, что такое ненависть к Сталину, ко лжи, ко всему тому, в чем мы жили, стараясь не размышлять, не видеть, забыть. В моей семье тоже хлебнули лиха – при Стали-

не сгнули два моих дяди. Но это было до войны, в прошлом, о котором старались не вспоминать и не упоминать. А Марк Наумович – вот он. Когда я кончил институт, М. Н. почтил меня предложением написать один рассказик в «Книгу для чтения по истории Древней Греции». Я написал текст «Греческие художники». Так красиво я не писал никогда. Смеяться над собственными ранними сочинениями – занятие безвкусное, и текст вполне приличный, но сколько там было расхожих штампов, сколько «было вложено сахару»! Но то была первая книжная публикация.

М. Н. относился к моим сочинениям благосклонно, но чуть насмешливо, меня это злило, но исподволь – учило. Не говорю о том, что работа эта меня спасала: познав истину на государственной службе, я рад был любой литературной поденщине, а уж писать с М. Н. – просто счастье. Он помогал мне больше, чем я замечал. Как-то незаметно помог получить часы в Герценовском институте, потом предложил участвовать в книжке «На семи холмах», давал какую-то редактуру.

А подружиться мы не смогли, и вовсе не из-за разницы в возрасте. Я был по-юношески непримирим, а Марк Наумович видел во мне человека слишком благополучного (вот уж где он ошибался!) и уж во всяком случае, далекого от диссидентства (что было истинной правдой). Я дарил ему свои книжки, он мне свои. Какой он сделал «Мифологический словарь» – по тем временам такое издание было просто откровением! И все же судьба не дала возможности сделать то, что позволял ему его талант.

Я думаю, он мог бы написать прекрасную большую книгу об античности, не историю, не учебник, не пресловутую «научную монографию», а прекрасную и мудрую книгу о наших отношениях с древностью, о разных путях проникновения в нее, книгу эссеистическую и бесконечно личную, где были бы и воспоминания об учителях и о собственной жизни, о своем вхождении в лабиринты истории, о причудах Клио и о многом другом. Знаю, он писал что-то в стол, и отнюдь не историческое. Что-то очень личное. Кусочки он мне читал, и это была отменная проза. Сказать, что этот блестящий, мудрый, скептический и бесконечно добрый человек состоял-

ся – нельзя. Он не сделал и доли того, что мог бы сделать. Но «он между нами жил». И остался в каждом, кто с ним так или иначе соприкасался, как могучий неиссякаемый катализатор, как пример умения быть самим собою, как напоминание о том, что в мире зла – только знание спасительно, что можно пренебрегать суетными благами и всегда жить со вкусом и достойно. Портрет его истаивает во времени, больно и обидно, что мы так мало виделись, я все собирался, преступно забыв о том, как опасно промедление. У Метерлинка в «Синей птице» говорится, что мертвые живы, когда мы о них вспоминаем. А о Марке Наумовиче Ботвиннике мы – все, кто его знал, – помним не просто как о человеке, к которому были привязаны, но как о человеке, даже трудные стороны которого учили нас видеть мир со спасительной долей цинизма, скептически, мудро и – несмотря ни на что – светло. Я не хотел писать апологию. Но чем дальше уходит человек, тем больше ощущается его масштаб.

## УЧИТЕЛЬ

Марк Наумович Ботвинник преподавал латинский в Институте живописи, скульптуры и архитектуры при Академии Художеств в 1954–1955 учебном году. Учитель – второе слово после слова Отец. Блажен человек, которому Бог подарил хорошего учителя. Блажен и учитель, которому Бог подарил хорошего ученика. Занятия проходили у Марка Наумовича дома, в его квартире на Стремянной. Очень красивый, статный мужчина приветливо встречал студентов.

*Disciplina*, ае, f. – учение, познание, знание, строгий порядок; образ мыслей, обычай. Ах, как мило! И зубрить-то нечего. Ведь и в русском языке есть слово «дисциплина». Траля-траля! *Scortum*, і, п. – шкура, кожа; а еще – блудница. То же все ясно. Как же, как же, «скорняк» ведь тот же корень? *Trivialis*, е. – бывающий на перекрестках, обыкновенный, простонародный. Уж что-что, а, увы, я с рождения хорошо знаю, что такое «тривиальность». *Marra*, ае, f. – салфетка; платок, которым давали сигнал на ристалищах. *Marra mundi* – есть такое выражение: «карта мира», изображение Вселенной на ткани, на пергаменте, на бумаге. Знакомые слова? На моем родном украинском географическая карта – тоже «мапа». Ну и что из того, что вместо двух латинских «р» осталось одно? Узнать-то проще простого? Многие латинские слова казались родными. А вот грамматика проявила себя как злая двоюродная мачеха. Склонения, спряжения, времена, наклонения утрясались в голове с трудом. А порядок слов вообще повел себя как троюродный тесть: не привыкнуть.

Задана была «Галльская война» всем известного Гая Юлия Цезаря. Выяснилось сразу, что текст совсем не просто переводить. В нашей маленькой группе занимался и Миша Герман: казалось бы, совместно, у того же учителя учились. С

переводом злополучной «Галльской войны» (будь они, все войны, прокляты!) Миша справился значительно бодрее меня, хорошо помню. С горем пополам получила у Марка Наумовича зачет. Учила латынь, да не выучила: не подарил Бог Марку Наумовичу хорошего ученика в моем лице. До сих пор стыдно...

Занятия латынью в нашей маленькой студенческой группе практически длились шесть месяцев. В хранимом providении институте учебный год традиционно начинался с октября, при этом в октябре студентов еще посылали в колхоз, где работали и веселились от души – по молодости и по глупости. Изучать латынь всего полгода, один раз в неделю, мало, конечно. И все-таки думаю, что уроки Марка Наумовича, как ничьи другие, были очень полезны. Они помогли лучше понять разные славянские языки, они безусловно облегчили изучение европейских языков, которыми пришлось заниматься в дальнейшем. Общение с таким преподавателем – а это, быть может, и есть самое главное – приоткрыло нечто. Это нечто – идея сложности, мудрости, величественной красоты древней латинской словесной культуры.

Марк Наумович по собственной инициативе давал читать принадлежавшие ему книги – сочинения Эсхила, Еврипида, Софокла. Эти трагедии легли в самую глубину души непоколебимо. Учитель был рад, что кто-то разделял страсть его жизни. В прекрасном состоянии, совсем чистенькое красивое издание «Дафниса и Хлои» Лонга в переводе Вересаева как сейчас помню лежащим на моей кривомордой тумбочке в общежитии. Марку Наумовичу явно нравился такой русский вариант «Дафниса» – со всеми подтекстами, привнесенными индивидуальностью Вересаева. «Возьмите, прочтите. Как?! Вы не читали?». Только с годами в полной мере понимаешь щедрость человека, который не боялся давать свои любимые книги в комнату, где был один на все про все квадратный деревянный стол, а на столе постоянно проживал большой алюминиевый чайник; в комнату, где был один общий фанерный платяной шкаф и стояли, плотно прижавшись друг к другу, двенадцать узких железных кроватей, покрытых матрацами из сбившейся комьями ваты, кроватей, застеленных серыми жесткими солдатскими одеялами, кроватей, сидя на

которых писали картины маслом, лепили на дощечках скульптуры из глины, рисовали на бумаге карандашами и углем, читали книги, писали конспекты двенадцать полугодных и плохо одетых одержимых девушек, приехавших учиться искусству в Академии художеств с разных концов страны; в комнату, где частенько толклись и не проживавшие в ней. Что ж, Публий Вергилий Марон, как и все гении, был всегда и во всем прав: «*fuit Troja, fuimus Trojani*» – «Была (некогда) Троя, были (и мы) троянцами».

Вместо того, чтобы железным молотком неуклонно вколачивать в наши головы крупные гвозди латинской грамматики, Марк Наумович часто позволял себе расслабиться. Его то и дело «заносило». *Poster, era, erum*, или *posterus, a, um* – следующий, последующий, худший, менее важный. Тут он вспоминал мужское имя Постум и бессмертную оду Квинта Горация Флакка: «*Eheu, fugaces, Postume, Postume, labuntur anni*» – «Увы, о, Постум, Постум, мчатся быстрые годы». А вот вам и прекрасный перевод Фета: «Увы, мимолетно, Постумий, Постумий, проносятся годы; моленья напрасны...»

Марк Наумович был блестящим консультантом по любым темам, связанным с культурой древних. Однажды, через много лет, я пришла к нему за советом, и, отвечая на вопрос об Истмийских играх, он без подготовки изложил необычайно много подробных сведений со ссылками на классические источники и справочники. У него очень многому можно было научиться. Но было и то, чему не научишься, даже если захочешь, – талант.

Мой учитель навсегда останется в памяти как прекрасный человек. В нем было высшее благородство – говорить то, что думаешь. Ему было дано понимать, где высокое, где низкое. Он шел по жизни с открытым забралом. Светлая память...

## «ЛАТЫНЬ ИЗ МОДЫ ВЫШЛА НЫНЕ...»

Сегодня, когда после очередного крушения образования вновь заговорили о его возрождении и стали спешно переименовывать школы в гимназии и лицеи, я вспоминаю своих учителей – учителей простой средней школы. Прописная истина гласит: только рядом с достойными учителями могут вырасти достойные люди. Нам в этом смысле повезло. Мы росли не в самое просвещенное время – под запретом были имена великих поэтов и ученых России, перетолковывались целые периоды истории человечества – но рядом с нами в средней школе (в 1945–1955 годах) были интересные и образованные люди. В полной мере оценить их мы смогли, конечно, много лет спустя.

Женская школа № 189 в помещении бывшей «Анненшколе», бывшей 11-й, затем 29-й «единой трудовой». Пятидесятые годы. Школа женская не только по составу учащихся: большинство преподавателей тоже женщины, так что новый учитель-мужчина сразу же становится предметом особого внимания восьмиклассниц. Именно в этом возрасте мы впервые встретились с Марком Наумовичем Ботвинником. Мы стали объектом какого-то эксперимента – в нескольких школах города с восьмого класса была введена в качестве второго иностранного языка латынь.

Маркус (так мы за глаза называли нашего латиниста) был не совсем обычным учителем. Держался он несколько отстраненно, никогда не резонерствовал, преподавал свой предмет – и все. Мы же привыкли, чтобы нас постоянно поучали. Впрочем, один совет, который я запомнила на долгие годы, он все же дал. Пытаясь не только обучить нас латыни, но и сформировать общее представление о мировой культуре, о мировой истории, Марк Наумович, по-видимому, частенько наталки-



вался на нашу дремучую серость и в один из таких моментов дал совет, очень для него характерный: «Милые девочки, у вас красивые и умные лица. Если вы захотите прослыть в обществе красавицами и умницами, побольше молчите». Он был с нами всегда спокоен (никогда не повышал голоса!) и слегка ироничен. Раздавая листочки с заданиями для контрольной работы, он тут же объявлял, что левую колонку блокирует: в этой колонке за первой партой сидела Ира В. – наш лучший знаток иностранных языков. По-моему, Ире все-таки удавалось заполнить несколько вариантов, и я думаю, что Марк Наумович это видел, но не мешал нашей игре. Вряд ли он относился всерьез к изучению латыни в средней женской школе. Мы были эпизодом в его непростой жизни, но об этом я узнала много позже.

Ученый по складу ума и характеру, вынужденный обстоятельствами сделаться школьным учителем, Марк Наумович вполне мог считать это время потерянным. Но для сорока семнадцатилетних девушек было чрезвычайно важно приобщиться к мировой культуре, истории, языковедению на уроках этого доброжелательного, образованного и немного насмешливого человека. Эти уроки не прошли для нас даром, и впоследствии нам представилась счастливая возможность поблагодарить его. Слава Богу, успели.

Через много лет после окончания школы я случайно встретила Марка Наумовича на улице, конечно, узнала его, но поздороваться не решилась: нас было много, вряд ли помнит. Прошла несколько шагов и оглянулась. Он тоже остановился и оглянулся. Так началась новая страница нашего общения. Он, как ни странно, вспомнил мое имя и фамилию – через тридцать с лишним лет! Правда, сначала он решил, что я была его студенткой в Герценовском институте, но потом все вспомнил – в том числе и то, что я была пионервожатой в классе у его дочерей-двойняшек Эмы и Наташи (мы звали их «маркусятами»).

После этой встречи Марк Наумович пришел на наш классный традиционный сбор – тридцатипятилетия окончания школы. Он очень много рассказал об истории нашей школы, в которой, как оказалось, до войны учился и сам. Пришел он не один, а с внучкой Стефанией, дочерью Эмы. Многие ли

люди в преклонном возрасте могут похвастаться дружбой с восемнадцатилетней внучкой? Не могу передать, как всех нас тронула эта тургеневская Стеша.

С этого времени Марк Наумович периодически звонил мне, обращался с небольшими просьбами или просто приглашал зайти. Я всегда была рада помочь, но особенно радовалось дружеское общение с мудрым собеседником. Я попала в старую петербургскую семью, по-настоящему интеллигентную, услышала ее историю, познакомилась с женой Марка Наумовича – Ириной Павловной. Эта маленькая, добрая, простая в обращении и очень образованная женщина умела создать в доме неповторимую атмосферу – и во всем чувствовалось ее уважение к мужу. Я вновь встретилась со своей «пионеркой» Наташей, которая стала продолжательницей дела отца. Теперь Наталья Марковна преподает древние языки в Петербургском университете. Было приятно и интересно наблюдать и слушать, как она беседует с отцом: так говорят с другом, единомышленником, человеком, который поймет ироничное замечание и всегда даст ненавязчивый совет.

На моих глазах эта дружная семья пережила огромное горе – смерть Наташиной сестры Эмы. Но даже в горе Марк Наумович и его близкие были мужественны и интеллигентны; их горе было глубоким и немногословным.

Последние годы моего общения с Марком Наумовичем совпали с так называемой перестройкой и постперестройкой. Многие знакомые покидали Россию, на душе часто бывало беспокойно. Но после бесед с Марком Наумовичем, его «философских расследований» все как-то становилось на место. Наверное, бессмысленно пересказывать содержание наших бесед, если вообще можно их так назвать – я была в основном хорошим слушателем; к тому же влияние этих бесед было не только информационное, но в первую очередь, эмоциональное.

Однажды я рассказала Марку Наумовичу, что в городе создано еврейское благотворительное общество помощи пожилым петербуржцам, и он тотчас вспомнил о своем учителе Якове Марковиче Боровском, которому тогда было девяносто с лишним лет. Вскоре мы вместе побывали у него. Это был необыкновенный человек, о котором стоит рассказать

отдельно: в почти столетнем возрасте, с трудом передвигаясь по квартире, работая с огромной лупой, он увлеченно рецензировал присланные ему новые переводы. Марк Наумович, в то время тоже уже немолодой и очень нездоровый, всегда трогательно о нем заботился.

Когда уходят из жизни такие люди, как Марк Наумович Ботвинник, уходит целый пласт мудрости, знаний, духовности. В сердцах людей, которые общались с ним, образуется пустота. Наверное, многим знакомо это чувство: в какой-то момент хочется поговорить с человеком – и вдруг понимаешь, что его нет...

А. Я. Пругалов

## ПОДАРОК СУДЬБЫ

... быть живым,  
Живым и только,  
Живым и только, до конца.

*Б. Пастернак*

Знакомство с Марком Наумовичем я всегда воспринимал как подарок судьбы, урок демократизма и нонконформизма.

«Это же надо, есть человек, которого Ираида уважительно называет Учитель», – удивленно воскликнула как-то моя матушка году в 1977. Так я, в то время студент Университета, услышал впервые о существовании некоего Марка Наумовича Ботвинника. Удивляться было чему. Ираида Серафимовна Грачева – известный в Петербурге лектор и преподаватель литературы. И вот такая-то блистательная дама говорит вдруг с уважением о своем Учителе. Услышав, что к нам домой придет «Учитель Ираиды», я был прямо заинтригован.

Марк Наумович произвел на меня ошеломляющее впечатление сочетанием невероятной эрудиции и большого демократизма. В конце беседы за семейным столом он запросто предложил мне заходить к нему. Хоть это и было почти 20 лет назад, я помню кое-что из той первой беседы. Помню, как мне хотелось понравиться Марку Наумовичу, сказать что-нибудь умное. И вроде как удалось это сделать. «Писатель отличается от читателя тем, что читатель видит все как ему хочется, а писатель – как на самом деле», – бодро сказанул я, вызвав живой интерес нашего гостя. Только через несколько лет я обнаружил, что совершил нечто вроде подлога, обманув всех и себя в том числе: именно эту мысль я нашел у Льва Толстого.

Очень скоро я позвонил Марку Наумовичу и впервые оказался у него в гостях в его просторной квартире, где я впоследствии бывал не раз.

На протяжении последующих десяти лет, т. е. восьмидесятых годов, наши отношения, пожалуй, нельзя назвать ни дружескими, ни эпизодическими – это было нечто среднее. Стремясь не быть в тягость, я посещал Марка Наумовича один-два раза в месяц, почти всегда отказываясь от предложенного чая. По времени визиты были краткими – около получаса, но как часто, уходя, уже в лифте, я ловил себя на мысли, что у меня голова идет кругом от полученной многообразной информации.

Поначалу наше общение сводилось к тому, что я задавал вопросы (многие готовил-копил заранее), а Марк Наумович на них отвечал. Отвечал, как правило, на все вопросы, хотя мне казалось, что тривиальных я не задаю.

Далеко не сразу, постепенно я узнавал, что Марк Наумович знал многих интересующих меня людей, что его московская дочь участвует в диссидентском движении, что он сам дружит с Л. Богораз, С. Ковалевым, хотя и не одобряет деятельности дочери. Во время одного из приездов Нозми Марковны меня с ней познакомили. Сразу получился спор об Аверинцеве: она в каком-то раздражении упрекала его в лицемерии. Я не выдержал: «Что Вы, собственно, имеете против Аверинцева?» В ответ прозвучало что-то вроде: «Знаем-знаем мы его смирение!» Хорошо помню, как меня заинтересовала степень ее запальчивости.

Узнавал я и литературные пристрастия Марка Наумовича: Пушкин, Чехов, Маяковский, Солженицын, Галич, Домбровский. Как-то я попросил его написать список любимых книг. Он быстро выполнил мою просьбу, но переформулировал ее. Получился список книг, наиболее повлиявших на него в течение жизни. К каждой из 20 выделенных книг приводились пояснения. Например: «Э. М. Ремарк, но из него вырастаешь, как из детских штанов». Или: «Чехов «Три сестры», «Вишневый сад», никогда не понимал «Чайку». Конечно, я тщательно изучил этот список, читал его и друзьям. Все мне было интересно. И что Марк Наумович никогда ничего не перечитывал, и что некоторые книги прочитал ему в детстве отец, например, «Войну и мир».

Спросив у Марка Наумовича его мнение о бардах, я услышал отрицательное суждение о песнях Высоцкого, но о Галиче – самые прочувствованные и теплые слова. Пафос был совсем не свойственен моему саркастическому собеседнику, поэтому я сразу очень заинтересовался. Наконец-то найдя песни Галича в записи приличного качества, я понял, что это – первый сорт, и очень их оценил (я и теперь думаю, что он – единственный из бардов, который проходит «проверку листом»).

В то время, отчасти благодаря тому, что я занимался хранением и распространением «тамиздата», к моему мнению прислушивались друзья-приятели, и некоторых из них я тут же «заразил» Галичем. А на заре перестройки в начале 1988 года мой друг, преподаватель физики, попросил меня познакомить его школьников с творчеством Галича. И состоялось вполне удачное общение. Каждую песню Галича – тогда еще на бобинном магнитофоне – я немного комментировал, вспоминая рассказы Марка Наумовича. Потом дети подходили, благодарили. Им понравилось.

А в следующем году, узнав, что одна моя знакомая молодая учительница собирается проводить школьный вечер памяти репрессированных поэтов, я предложил Марку Наумовичу самому сказать несколько слов детям. Он сразу согласился, но выразил сомнение, сможет ли приехать из-за удаленности школы. Я мгновенно обязался доставить его туда и обратно на автомобиле. Марк Наумович взял с собой младшую внучку, шестнадцатилетнюю Сашеньку.

Вечер прошел отлично. Марк Наумович говорил минут двадцать. Он несомненно обладал талантом рассказчика. У ребят заблестели глаза, лица покраснелись. Мне запомнились слова Марка Наумовича: «Подобно тому, как я, молодой, запомнил последних народовольцев, вы, может быть, запомните меня».

Как-то через год Марк Наумович спросил меня, нельзя ли с помощью моего друга, учителя физики, организовать встречу с учащимися нынешней 239-й школы. Он объяснил мне, что ему это интересно еще и потому, что когда-то – лет 60 назад – он сам учился в этом здании у кинотеатра «Спартак». Конечно, я сразу позвонил моему другу Г. Водопьяну,

объяснил ему, что будет очень интересно, и тот быстро все устроил. Гриша потом позвонил и поблагодарил, сказав, что дети прямо-таки «встали на уши», т. е. пришли в восторг. Я с удовольствием передал этот отзыв Марку Наумовичу. В начале 80-х я много сидел в «Публичке», изучая поэтов и философов Серебряного века. Больше всего мне нравились стихи Мандельштама. Году в 80-м мне удалось найти первую книгу «Воспоминаний» Н. Я. Мандельштам. Да, это было тогда для меня и моих близких колоссальным чтением! Марк же Наумович, как выяснилось, познакомился с Надеждой Яковлевной Мандельштам еще в 60-е годы и запросто мог процитировать какие-нибудь сногшибательные для меня слова Н. Я. Мандельштам. К примеру, о том, что первый арест по существу спас их отношения «с Осей»: так велико было увлечение Мандельштама М. С. Петровых. Я, понятно, тогда знал об этом только известную фразу Ахматовой.

Кстати, Ахматову Марк Наумович не любил, упрекал в неискренности, излишнем самолюбии. А вот Цветаеву, по моему, любил: он как-то попросил у меня статьи И. Кудровой, казавшиеся мне малоинтересными, а в ответ на мой вопрос: «Вам что, так нравится Цветаева?» – я получил удивительный ответ: «Мне ее жалко». Помню, эта реплика меня сразила – Марка Наумовича нельзя было упрекнуть в излишних сантиментах.

В те годы я активно занимался «поисками Бога». Мне казалось какой-то путаницей, что Марк Наумович считает себя безрелигиозным: как может творческий человек заниматься самоотрицанием?! Но всегда, конечно, понимал, что я никакой ему не судья, и молчал.

Впрочем, иногда меня все же заносило. Так однажды я осторожно заметил, что в бурном росте христианского верования в первых веках нашей эры было что-то не совсем натуральное. Из последующего разговора я узнал, что у Марка Наумовича составлен целый список идеологий (мертвых и живых религий) с указанием психологических причин их возникновения и умирания.

А в 1993 году я не стал скрывать от Марка Наумовича своего нового увлечения, хотя понимал, что подвергнусь на-

смешкам. И, сцепив зубы, я подробно рассказал ему о создателе новой синтетической религии, ярком молодом проповеднике из Сибири, создателе интеллигентской секты, называющим себя Виссарионом. Марк Наумович и здесь превзошел всех моих друзей (которые, очевидно, решили, что раз человек считает себя Христом, значит он – лжец и нечего его слушать): в какой-то момент он готов был ехать слушать Виссариона! И это – на семьдесят седьмом году жизни, уже совсем плохо видя и слыша («Мы гармонично увядаем», – с усмешкой цитировал он слова одного своего друга). Помогло, это превосходный пример открытости, незащоренности сознания. По существу единственный раз, когда я решился на прямой разговор о Боге – это за три недели до смерти Марка Наумовича, в конце недоброго (все страдали от жары и духоты) июля 1994 года.

В летние месяцы мы виделись чаще: вместе гуляли в царскосельских парках, заходили в гости друг к другу. Когда я проводил оздоровительные голодовки, Марк Наумович неизменно звонил и, по-моему, только в полушутку, спрашивал, не нужно ли вызвать скорую помощь. Как-то в середине июля, за месяц до смерти, узнав, что у меня в гостях та самая художница, которая год назад нарисовала его портрет, Марк Наумович огорошил меня: «Сейчас я приеду к вам с шампанским!» И приехал, и пил вино наравне с молодыми людьми (художница приехала с другом), мы купили еще одну бутылку.

В последнее лето мы были наиболее близки. И вот тогда-то я решился. Выписав два стихотворения Ф. Сологуба, я захватил листок с собой на прогулку в Нижний парк. И сидя на скамейке в двухстах метрах от Колонистского пруда, я попросил у Марка Наумовича разрешения прочитать и подарить ему два стихотворения. Это были «Я испытал превратности судеб» и «Подыши еще немного...» – мощные стихотворения, в которых поэт подводит итоги жизни.

Подыши еще немного  
Тяжким воздухом земным,  
Бедный, слабый воин Бога,  
Странно зыблемый, как дым.



Что Творцу твои страдания?  
Кратче мига – сотни лет.  
Вот – одно воспоминанье,  
Вот – и памяти уж нет.  
Страсти те же, что и ныне...  
Кто-то любит пламя зорь...  
Приближаясь к кончине,  
Ты с Творцом твоим не спорь.  
Бедный, слабый воин Бога,  
Весь истаявший, как дым,  
Подыши еще немного  
Тяжким воздухом земным.

Я с тоской предчувствовал, что Марк Наумович скоро «присоединится к большинству». Это, да еще потрясший меня краткий монолог уже полуслепого и полуглухого Марка Наумовича, когда ранее, еще в размокшем марте, мы встретились на улице Рубинштейна у Пяти углов и его первыми словами были: «Понимаете, Саша, я себя как-то не берег, думая, что до 70 лет мне и так хватит... Вот и Ирину Павловну – тоже. А выяснилось, что все не так...», и дали мне решимость прочитать ему последнее стихотворение Ф. Сологуба, написанное им за четыре месяца до смерти.

Тогда я прочел стихи Сологуба с замиранием сердца, меня волновало не только возможное легкомысленное отношение со стороны моего слушателя, а и то, что может не состояться разговор о Боге. Поэтому я проигнорировал первую реакцию Марка Наумовича – насмешку над строкой «Кто-то любит пламя зорь» – не стал говорить о младших символистах, и правильно сделал. Ибо после того, как мой собеседник поблагодарил меня, попросив сложить стихи в футляр от очков, – разговор, интересующий меня, все же состоялся.

На мой робкий вопрос об отношении к Богу Марк Наумович каким-то небывало размягченным голосом ответил, что с Богом у него все в порядке, с Богом он не ссорился. Вот разве что однажды... Ну да это – по молодости. А так всю жизнь старался никому не делать гадостей....

«... Быть живым, живым и только. Живым и только, до конца», – вот что приходит на ум, когда я вспоминаю послед-

ние годы жизни Марка Наумовича. Он был против любой идеологии – будь то капитализм, социализм или другие мертвые слова. Так, в последние годы он жаловался мне на то, что в оценке происходящих со страной перемен – во многом негативной оценке – он одинок.

Любая идеологичность, любое стремление обратить в свою веру раздражали Марка Наумовича. Так, он возмущался неуклюжими попытками критика Непомнящего сделать из Пушкина образцового христианина, ну да сей прекрасный литературовед действительно перегибает здесь палку, что и показал Г. С. Померанц. А когда я осторожно заметил, что Пушкин «шел именно туда», Марк Наумович возражать не стал. Как я теперь понимаю, у него было очень развито чувство меры.

Марк Наумович преподавал мне много уроков. Например, урок демократизма. В общении со своими юными друзьями, бывшими учениками (коих я старше зачастую в два раза) я использую его опыт общения со мной. Так ни разу в жизни он не назвал меня на «ты», ни разу не выказал неуважения в связи с разницей в образовании. А возможностей для этого было – хоть отбавляй. Так, однажды я нагло предложил Марку Наумовичу писать очерк о Сократе... вместе! (Это я-то – поклонник Достоевского). В ответ он только смущенно заметил, что не знает ведь, как я умею писать.

Несмотря на одолевавшие его болезни, Марк Наумович никогда, даже в последние годы жизни, не производил на меня впечатления старика: настолько он всегда всем интересовался (например, я часто рассказывал ему о книжных новинках). И никакого высокомерия! Он готов был учиться и в 77-летнем возрасте. Так, будучи у нас в гостях, уже за полтора месяца до смерти, он заинтересованно переспросил меня, когда я заметил, что мед лучше есть не с чаем, как делает большинство, а в начале еды, из-за содержащихся в нем кислот.

Затем – урок самостоятельности, самостоятельного и объемного мышления. Я радуюсь выборам нового мэра, а Марк Наумович ругает его дураком (не голословно: «Как можно из университетских профессоров пойти в чиновники?») и сравнивает с Керенским. Я с увлечением долго рассказываю, ку-

да надо вкладывать приватизационные чеки, а Марк Наумович реагирует односложно: «Ваши ваучеры, Саша, г...о!» Теперь имею полную возможность убедиться в его правоте. Я что-то говорю про основной вопрос русской интеллигенции: уезжать или не уезжать? А в ответ следует что-то неслыханное: «Уезжают только сумасшедшие». Находясь в эйфории от журнальных публикаций в 1988 году, я как-то заявляю: «Принимать или не принимать перестройку – вопроса для меня не было: моя перестройка». Но в ответ слышу только скептическое хмыкание Марка Наумовича. Очевидно, он не очень-то доверяет нашим скороспелым реформам. Здесь надо иметь в виду, что еще году в восьмидесятом сын И. С. Грачевой Андрей присвоил Марку Наумовичу почетное звание: Большая Антисоветская Энциклопедия. Я охотно использовал это прозвище в разговорах со своими близкими. Кстати, Марк Наумович об этом не знал, а узнав от меня в 93-м году, с удовольствием посмеялся.

И вот от такого человека я услышал однажды: «Сталин был умный человек, смысл предвоенного террора – уничтожение пятой колонны перед войной». Помню, хотелось ответить что-нибудь дерзкое («Вы рассуждаете, как отставной генерал. Такое впечатление, что Вы читались кромешной газеты «Завтра»), но я осторожно промолчал, почувствовав вдруг, что как бы попал в мизансцену из Достоевского: кто говорит и что говорит. (Все же я не сумел пережить «умного Сталина» и заметил потом, что в понятие «ума» надо включать понятие «сердце». Это было выслушано со вниманием).

Я часто испытываю нехватку Марка Наумовича: не к кому обратиться за советом или исторической справкой; всегда я гордился своим знакомством, а потом дружбой с Марком Наумовичем и не сомневаюсь, что буду помнить о нем до конца жизни.

Это был человек щедрой души, часто скрывающейся за скептической усмешкой.

## М. Н. БОТВИННИК: ТРУДЫ И ДНИ

Жизнь сблизила меня уже с тремя поколениями семьи Ботвинников—Суздальских. Теща Марка Наумовича, Минна Яковлевна, ровно пятьдесят лет назад вылечила меня от тяжелого стоматита; шурин Марка Наумовича, Юрий Павлович Суздальский, с которым я учился в одной студенческой группе, тогда же пытался поселить меня у себя на квартире, надеясь уберечь от окружавших меня в студенческом общении донощиков и таким образом спасти от ареста, а с дочерью Марка Наумовича, Натальей Марковной, я до сегодняшнего дня преподаю на одной кафедре и руководил ее диссертацией.

С самим Марком Наумовичем, насколько я помню, я познакомился вскоре после того, как стал работать по окончании аспирантуры в Университете, в 1959 году. Тогда мы вместе составили примечания к сборнику переводов В. В. Вересаева «Эллинские поэты», изданному в 1963 г. Потом я выверял статьи для первого издания «Мифологического словаря», где Марк Наумович был не только одним из авторов, но и организатором всего предприятия; участвовал вместе с Марком Наумовичем в «Хрестоматии по истории Древней Греции», в издании «Мифы народов мира» и еще в других предприятиях такого рода. Вместе мы переводили Исократа и Демосфена.

Единственная опубликованная при жизни исследовательская статья Марка Наумовича по древней истории посвящена ранним Мегарам. Статья серьезная, трезвая, убедительная, так что очень обидно, что Марк Наумович не продолжил эту свою работу: мы имели бы историю Мегар интереснее, чем вышедшая в 1981 году книга Рональда Легона.

Марк Наумович всегда относился с бережным вниманием к историческому источнику, а его природный критический дух

был направлен скорее в сторону теорий, которые строятся исследователями. Не только многие новые догадки подвергались с его стороны уничтожающей критике, Марк Наумович был настроен заранее настороженно по отношению к попыткам сказать новое слово в древней истории там, где не появляются новые источники. Может быть, это, наряду с неблагоприятными внешними условиями, сыграло свою роль в отходе Марка Наумовича от непосредственно исследовательской работы. Активно не принимал он и плоды бездарной эрудиции. Марк Наумович выделял из исследователей древности довольно обширную категорию людей, которые работают так, что, прочитав одно заглавие их нового исследования и зная человека, можно было безошибочно предсказать, какие будут выводы в конце этой работы. Марк Наумович, конечно, относился к таким исследованиям с известной дозой иронии и был очень доволен, когда я рассказал ему, что математик Колмогоров обратил внимание на общую особенность творчества большинства бездарных стихотворцев – возможность по первой половине стихотворной строки предсказать ее окончание, и разработал экспериментально-математический метод для количественной оценки степени бездарности автора.

Не принимал Марк Наумович и концепции, построенные на одной только возможности того или другого исторического факта, и однажды мне пришлось быть свидетелем того, как Марк Наумович обменивался мнениями по этому поводу со своим другом, ныне тоже покойным Яковом Соломоновичем Лурье, неутомимым борцом против такого рода схем, и они явно взаимно «подзаряжали» друг друга. Большой популярностью пользовались лекции Марка Наумовича по истории и культуре Древней Греции в Эрмитаже и в городском лектории. Я так и не собрался посетить хотя бы одну из них, но слышал несколько раз выступления Марка Наумовича по разным поводам. Это были выступления мастера устной речи, которому не нужно было прибегать к риторическим приемам. Широкий кругозор, всегда присутствовавший эмоциональный заряд, элемент импровизации обеспечивали ему успех. Марк Наумович всегда отлично чувствовал аудиторию, и это должно было в немалой степени способствовать и успеху его преподавания в Герценовском институте.

Марк Наумович был подлинным мастером перевода. Длинная древнегреческая фраза после того, как ее удавалось понять до конца, как будто автоматически превращалась в два-три, а то и более русских предложения, соответствовавших нормам русской грамматики и стилистики, понятных для читателя и удивительным образом передававших не только смысл, но и общее впечатление от исходной греческой фразы-мамонта. В этом несомненно проявлялся природный дар, хотя, как я в конце концов понял, свою роль сыграл здесь и многолетний опыт. В самом деле, после того, как мы перевели совсем недавно (десять лет назад!) несколько речей Демосфена, я почувствовал, что совместная работа с Марком Наумовичем не прошла для меня напрасно: стремление к буквализму, всегда пагубное при переводе и совершенно недопустимое при переводе с классических языков, наконец утратило власть и надо мной.

Переводил Марк Наумович и с новых языков, в частности с немецкого. Одним из последних трудов его жизни был перевод посвященного Платону второго тома знаменитой книги В. Йегера «Paideia». Этот труд, увидевший свет уже после смерти переводчика, вышел в 1997 году.

Марк Наумович написал много беллетризованных повествований из жизни Греции и Рима, обрабатывал для юношества биографии Плутарха. Классическая древность полна образцов свободолюбия и гражданской доблести, но Марк Наумович постоянно стремился усилить эти дорогие его духу мотивы, подчеркивал и развивал (в границах, допустимых для того или иного жанра) все то, что могло послужить гражданскому воспитанию задыхающихся от нехватки духовного кислорода подданных хрущевской и брежневской державы. При этом надо сказать, что если объективные границы, которые было бы непозволительно переходить, домысливая, как это неизбежно, данные источников, Марк Наумович соблюдал добросовестно, то с другими границами, искусственно созданными цензурой, которая всюду искала нежелательные намеки на современные события, он обращался куда более свободно. Некоторые пассажи из греко-римской истории звучали у Марка Наумовича чуть ли не вызывающе. Редакторы бдили, и, например, продолжение статьи Марка Наумовича в

журнале «Клуб», в которой кое-какие детали из жизни Спарты поразительно напоминали действительность брежневской эпохи, так и не увидело свет. Работа захватывала Марка Наумовича. Варианты рукописи – черновые и беловые, нужные книги расползались вокруг, как живые, захватывали огромный письменный стол и, распространяясь дальше, наполняли половину большой по нынешним временам комнаты Марка Наумовича, где шла работа. Иронический ум мог бы сказать, глядя на эту картину: «Nescio quid maius nascitur Iliade». Но родился (своевременно или несколько позже) доброкачественный перевод или книга, которую потом читали тысячи людей.

Если мы работали вдвоем, время от времени делая перерыв, начинался разговор на актуальные темы, разговор с теоретическими экскурсами.

Когда Горбачев начал пытаться выводить российское государство из того тупика, в который его завели предшественники, для Марка Наумовича, как и для всех нас, наступила пора волнений. Марк Наумович проявлял скептицизм, говоря о бесперспективности затеянных преобразований в народном хозяйстве, ссылаясь при этом на мнение профессионального экономиста, своего друга Г. Е. Эдельгауза, ожидал отката назад, но мне казалось, что Марк Наумович был доволен, когда ему возражали, когда он наталкивался на более или менее осторожный оптимизм.

К чему стремиться, какова может быть идеальная цель преобразований? Полное сближение форм жизни с западным миром Марк Наумович не одобрял никоим образом. К достижениям современной социологии и политологии, которые, казалось бы, надо принимать во внимание, оценивая настоящее и перспективы на будущее, он относился крайне скептически. В частности, он считал, что многие представители этих наук на Западе подгоняют свои теории под удобные выводы почти так же, как это делали так называемые «обществоведы» у нас при господстве коммунистов.

Я так и не решился спросить Марка Наумовича напрямик, но мне кажется, что он верил в какую-то идеальную форму демократического социализма. Во всяком случае, самый простой в условиях горбачевской «перестройки» путь к ча-

стнособственнической экономике – передачу заводов и совхозов в собственность их директорам – он отвергал категорически.

Марк Наумович дожил до краха коммунистического режима в 1991 году в значительной степени благодаря медицине, которую любил поругивать, но которой смеловерял себя, когда это было необходимо. Мыслями его владели не столько воспоминания о прошлом, как это было со многими пострадавшими от политических репрессий, сколько напряженный интерес к происходящему и тревожные мысли о будущем. От распространившихся было иллюзий он был бесконечно далек. Несмотря на внешние препятствия (в последние годы жизни у него резко ослабло зрение), Марк Наумович не просто впитывал, как губка, актуальную информацию, он активно искал ее и все время проигрывал в уме различные благоприятные и неблагоприятные варианты развития политических событий.

Нельзя сказать, чтобы Марк Наумович был в избытке наделен всеми теми качествами, которые позволяли и позволяют справляться с трудностями нашей повседневной жизни. Тем не менее, я бы сказал, что ему было в немалой степени присуще то, что в старой России именовалось почти забытым словом «распорядительность». Помню, однажды Марк Наумович был у нас дома, в квартире на Загородном, как вдруг в раковину на кухне снизу начала бурно поступать вода. Ситуация создалась катастрофическая: под нами был обувной магазин, и если бы вода протекла туда, мы оказались бы под угрозой большого штрафа. Марк Наумович первый понял, что нужно делать и стал вычерпывать воду из раковины. К счастью, какие-то меры были приняты довольно быстро, беда миновала, и только тогда Марк Наумович отправился к себе домой на Стремянную. В другой раз, когда нашей дочери было около года, Марк Наумович заметил, что у нас холодно, и принес самодельную железную электрическую печку, которая, несмотря на неказистый вид, поднимала температуру в комнате на градус в час.

Так хочется, чтобы Марка Наумовича подольше вспоминали будущие поколения. Пусть этот сборник поможет сохранить память о нем, хотя главное остается в его работах. В



сфере гуманитарных наук сочинения, предназначенные для широкой аудитории, устаревают как правило быстрее, чем исследования, написанные для специалистов. Однако некоторые образцы популярного жанра (например, «Харикл» Бекера) захватывают воображение и сегодня и заслуживают переиздания. Хочется верить, что и плоды трудов Марка Наумовича будут еще долго притягивать к себе тех из наших потомков, кто найдет в себе силы не отгородиться от животворящей европейской культурной традиции.

## «...НО С БЛАГОДАРНОСТИЮ БЫЛИ!»

В январе 1939 года на историческом факультете Ленинградского университета шла экзаменационная сессия. В небольшой аудитории второго этажа я принимал экзамены. Не припомню, кто подошел ко мне и прошептал на ухо:

– На кафедре древнего мира арестовали членов студенческого античного кружка...

В числе жертв этой очередной репрессии был назван Марк Ботвинник. Я тогда впервые услышал эту фамилию.

Прошло два года. Зимним вечером я был на концерте в Филармонии. В антракте ко мне подошла знакомая истфаковская аспирантка, тогда еще моя однофамилица – Дора Рабинович (впоследствии Казачкова):

– Из лагеря вернулся Марк Ботвинник, – сказала она.

Он реабилитирован и восстановлен на факультете... Ему нужно сдавать множество экзаменов, в том числе по вашему предмету...

Меня не пришлось долго уговаривать...

Тотчас передо мною появился юноша, худощавый, высокий... Взяв у него зачетную книжку, я положил ее на широкие перила филармонической лестницы и изобразил на страницах зачетки все дисциплины, какие мог принимать. На оценки я не скупился.

Марк сказал несколько фраз, неожиданно для меня высоким ломающимся голосом. Так вторично столкнулся я с этой фамилией и познакомился с ее носителем.

Вскоре началась война, и Марк Ботвинник надолго исчез с моего горизонта. Встретил я его уже после войны, на истфаке. Марк уезжал в эвакуацию с молодой женой – Ириной Суздальской, вернулся, обремененный большим семейством: в Сибири родились две девочки-близнецы.

На факультете М. Ботвинник стал заведовать кабинетом Древней истории на кафедре проф. С. Я. Лурье. Я начал часто бывать в этом кабинете. Признаюсь, меня туда привлекал не заведующий, а его помощница Елена Григорьевна Левенфиш, в скором будущем моя жена.

Помнится, как с «вызывающей роскошью» обставляли они свой кабинет мебелью, брошенной военным госпиталем, занимавшим в годы войны здание исторического факультета.

В то трудное время всеобщего дефицита брошенное имущество госпиталя пригодилось Марку, как говорится, и «в личной жизни». Всевозможные склянки и бутылочки – для получения детского питания его девочкам (в детских консультациях, конечно же, не хватало так называемой «стеклотары»). Шторы, затемнявшие окна в госпитале, стали материалом для одежды детей.

Я стал тогда чаще встречаться с Марком Ботвинником на различных факультетских собраниях, защитах диссертаций и других, как сейчас бы сказали, «тусовках», бывал он и у нас дома.

Вскоре связи снова разорвались, на этот раз «по моей» вине – 25 апреля 1949 года меня арестовали. Вернулся я уже после смерти отца всех народов и лучшего друга физкультурников.

Встречи возобновились; в первое лето после моего освобождения мы вместе отдыхали в небольшом живописном озерном литовском городке Зарасае. Жили мы общим хозяйством на совместно снятой даче.

Мы с Марком много бродили – он любил прогулки – по городку и окрестностям, подолгу сидели в сквере, где происходили частые переключки записавшихся для покупки обратных билетов. Ведь в Зарасае тоже действовал обычный советский закон для странствующих и путешествующих: если тебе нравится город и хочется в нем задержаться – негде жить, если тебе город не нравится и ты хочешь поскорее уехать – нет билетов.

В Зарасае Марка (как и многих других дачников) привлекал базар, поражавший неизбалованных ленинградцев изобилием и относительной дешевизной. Марк любил обходить

торговые ряды, беседуя с продавцами, торгуясь, отпуская шутки. Покупка обычно не происходила, главным было общение. Но раз Марк, помню, не выдержал искушения дешевой огромной индейки и приобрел ее, пренебрегая советами, хотя птица была «второй свежести».

Со второй половины 50-х годов началось наше многолетнее литературное сотрудничество. Началось оно с совместного участия в создании книг по истории древних Греции и Рима, затем были рассказы о знаменитых людях древности (по Плутарху) и, наконец, работа над «Мифологическим словарем».

Я не помню подробности возникновения идеи издания популярного словаря античной мифологии, снабженного иллюстрациями, показывающими проникновение античных влияний в русский язык и литературу.

Знаю, что существенную практическую роль сыграл Моисей Александрович Коган. Он тогда работал редактором в Учпедгизе – Ленинградском отделении издательства Учебно-педагогической литературы Министерства просвещения РСФСР. Это громоздкое название вскоре было упрощено и издательство стало именоваться: «Просвещение» (не подумали об уязвимости для острот кавычек – просвещение в кавычках).

М. А. Коган сумел ускорить утверждение заявки, убедив в актуальности такой книги, несмотря на древность ее тематики.

Образовался небольшой авторский коллектив. Авторы было четверо, из них только двое античников. Это М. Н. Ботвинник и недавний его ученик Борис Петрович Селецкий. М. А. Коган был специалистом по западному средневековью, а я занимался историей нового времени. Мое участие, вероятно, оправдывалось не столько глубокими познаниями в античности, сколько давней любовью к древним Греции и Риму и опытом работы в справочных и энциклопедических изданиях. Естественно, что Марк Ботвинник стал для нас всех опорой и авторитетом.

Работа над словарными статьями (в особенности не для античников) требует особого трудолюбия, скрупулезности, усидчивости, постоянного обращения к многотомным изда-

ниям (вроде немецкого рошеровского словаря) и, конечно, к античным источникам. В последнем случае Марк с его знанием древних языков был незаменим.

Работать с Марком было хорошо, хотя иногда сердила неторопливость, неожиданные уходы в сторону от темы, возвращение к уже пройденному. Но все это, как правило, шло на пользу делу.

Несмотря на различие характеров, работа над словарем, в основном, шла ровно, хотя порою возникали споры. Чаше они были связаны со статьями М. А. Когана. Моисей Александрович был широко образованным человеком, писавшим быстро и легко. Эта торопливость иногда приводила к неточностям. В таких случаях раздражительный Борис Петрович Селецкий говорил:

– Моисей Александрович, вы же пишете мифы по личным воспоминаниям!

Следует отдать справедливость М. А. Когану – он, как правило, не упорствовал и легко шел на уступки. Вспоминается типичный случай, связанный уже с работой над книгой – биографиями знаменитых греков и римлян. Я собирал статьи всех авторов у себя. Зазвонил телефон. В трубке мягкий словно поющий голос М. А. Когана:

– Здравсте! Получили моего Сертория?

– Получил.

– Хорошо?

– Говно!

– Ну, так переделаем...

Однако сложнее было исправлять неточности в сжатых, специфических словарных статьях.

Более всего сердил Марка конформизм Когана. Всем понятно, что в те времена нельзя было избежать цитирования классиков марксизма-ленинизма. К счастью от главного корифея уже избавились – прошло более трех лет после XX съезда. Одиозные ссылки мы стремились свести к минимуму. А М. А. Коган перенасыщал свои статьи такими цитатами, так сказать, превентивно. Он принадлежал к тому типу людей, которые добросовестно воевали, если надо с парашютом прыгали, но боялись начальства.

Марк Наумович сердился, обнаружив в статье очередную «античную» цитату из доклада Никиты Хрущева или иного вождя меньшего ранга, и решительно ее вычеркивал.

Большую помощь оказывали нам доброжелательные эрудированные советы Александра Иосифовича Зайцева. Естественно, что в кратком предисловии авторы выразили ему благодарность. В издательстве эти несколько слов вычеркнули, пояснив: «У нас не принято благодарить!» (В последующих изданиях нам все же удалось восстановить справедливость).

В 1959 году вышло первое издание «Мифологического словаря» и очень скоро разошлось. Клеевой способ, каким была издана книга, оказался неудачным, книга быстро распадалась на листочки. Это ускорило необходимость второго издания (немного расширенного). «Мифологическому словарю» предстояло счастливое будущее – он неоднократно переиздавался (в Москве, Минске, снова в Петербурге). Начиная с третьего издания над ним, постепенно расширяя его, работали уже два автора – М. Ботвинник и М. Рабинович. М. А. Коган умер, а Б. П. Селецкий уехал в Псков и перестал участвовать в работе.

За тридцать с лишним лет после выхода «Словаря» наш тандем тесно сработался и несмотря на разность характеров мы прилепились друг к другу.

Марк не отличался излишним пристрастием к внешнему порядку. Его письменный стол всегда был завален книгами, рукописями, какими-то листочками бумаги. На эту хаотическую грудку спокойно взирала маленькая бронзовая Венера Милосская.

Начиная работу, Марк всегда что-то разыскивал и, перебирая бумаги, приговаривал: «Когда человек любит порядок, он всегда найдет...» И находил. Отсутствие усидчивости с лихвой компенсировала его светлая голова, сохранившая ясность до конца. Неторопливость, бывало, приводила Марка к нарушению договорных издательских сроков. Я нервничал, торопил его. Марк же оставался спокоен и никогда не расставался с рукописью, не доведя ее до задуманной кондиции. Он прекрасно знал «совковые» порядки и любил известное выражение:

– У нас во всех делах надо брать поправочный коэффициент на общий бордель!

И, компенсируя авторское бесправие, всегда выходил из затруднений. Помню, когда готовили книгу о знаменитых героях древности, из Москвы от издательства «Просвещение» шли постоянные напоминания о приближающихся сроках представления рукописи и, что в случае просрочки договор будет разорван. Мое беспокойство Марк игнорировал. Он говорил:

– Ведь они получают рукопись, пересчитают страницы и поставят галочку, что все мол выполнено в срок и в нужном объеме. Потом рукопись месяцами будет лежать, а я за это время закончу «Александра Македонского».

И он спокойно положил в папку два экземпляра написанной им биографии Юлия Цезаря и отослал рукопись в Москву. Все произошло как и предвидел Марк. Несколько месяцев спустя – звонок из Москвы:

– Марк Наумович, вы ошибочно прислали двух Цезарей вместо...

Марк извинился и исправил ошибку.

Конечно так было не всегда. Большею частью мы укладывались в нужные сроки, чем выгодно отличались от издательства «Просвещение», тянувшего издания годами, не считаясь со своими обязательствами. Ведь автору, да еще некоренной национальности, деваться было некуда.

Жизнь Марка Ботвинника нельзя назвать ровной, спокойной, какой она могла быть в иную, нормальную эпоху. В самом начале ее исковеркали арест, пыточное следствие, лагерь, к счастью непродолжительный, но достаточный, чтобы оставить след навсегда. Десятилетиями «органы» не оставляли Марка в покое, лишали возможности нормальной работы. Прекрасный лектор, любимый студентами, был вынужден обучать латыни будущих медицинских сестер или довольствоваться случайными педагогическими заработками. Нельзя забыть и болезни Марка – инфаркт, операция на легком, на венах ног, а в конце жизни он стал терять зрение. Не помогло и операционное вмешательство.

Все эти удары не сломили Марка. Он оставался таким же интересующимся всем человеком: наукой, искусством, поли-

тикой, а главное людьми, которые постоянно были вокруг, он притягивал к себе людей.

Он всегда ходил быстро, широкими шагами. Эта смелая манера ходить сохранилась до конца, хотя зрение слабело, и опасность на дорогах усиливалась.

Словом, и внутренне и внешне Марк Ботвинник до старости оставался самим собой – умным, талантливым, общительным, активным человеком. Таким он и останется в памяти тех, кому посчастливилось его знать.



## ГОДЫ ДРУЖБЫ

Однажды в Ленинграде, в 60-х годах, меня пригласили послушать запрещенные тогда песни Александра Галича. В центре города, в коммунальной квартире собралось шесть или семь человек. Обстановка была несколько напряженная, все хотели скрыть нервозность. Начали слушать. Запись была далека от совершенства.

Позже всех пришел незнакомый мне человек. Не прерывая слушания, он уютно расположился на диване. Неясные строки и слова он пояснял, непринужденно смеялся, хвалил остроумные места и особенно удачные образы и рифмы поэта. В паузах между песнями обменивались мнениями, повторяли запомнившиеся строчки. Атмосфера стала обычной, о страхе забыли. Последний пришедший гость был Марк Наумович Ботвинник.

Вскоре мы стали часто бывать друг у друга. Мой муж, Георгий Евгеньевич Эдельгауз, был однодельцем Ботвинника и еще шести человек, арестованных почти одновременно, в конце 1937 – начале 1938 гг., по сталинской «разверстке». Не все эти молодые люди, объявленные членами террористической группы, даже знали друг друга и познакомились позднее, в тюрьме и в лагере. В 1939–1940 гг. произошли изменения в верхах НКВД, небольшие группы арестованных стали освобождать, но попасть в их число было чудом; из арестованных по этому делу восьми человек вернулось семеро.

Война раскидала всех по разным концам страны. После войны, устроившись немного, начали встречаться семьями, иногда жили вместе на даче. «Друзья вспоминали минувшие дни» и часто спорили о том, чей начальник в лагере был злее, на какой командировке делали больше тупты и т. п. Это бы-

ло и трагично, и смешно. Говорили об условиях лагерной жизни, о работе без сапог, в галошах в сорокаградусный мороз, о наказаниях, о постоянном голоде, и нельзя было не удивляться, как они остались живы. Конечно, они были молоды, но очень много молодых не вернулось... Я много раз спрашивала об этом и мужа, и Марка и поняла, что причин было несколько. Во-первых, дружба и взаимоподдержка: всем, что присылали из дому, друзья делились, когда оказывались вместе. Во-вторых, среди них какое-то время был очень красивый парень (кажется, Олег Левицкий), в которого влюбилась проститутка Зинка. Она жила с кем-то из начальства, и у нее водилась картошка, часто ей удавалось принести несколько картофелин своему избраннику, спавшему на тех же нарах, что и его поделщики. Эта картошка в тот момент была существенным подспорьем. Было и третье счастливое обстоятельство. По прибытии их этапа перед строем объявили, что нужен врач или фельдшер. Марк, выросший в доме врача и к тому же знавший латынь, решительно сделал шаг вперед и был назначен лекпомом. Такая должность в лагере была спасением. Санчасть помещалась в отдельном домике, две небольшие комнаты там отапливались. В санчасть на несколько дней отправляли «доходяг». Марк старался поместить туда и своих однодельцев, два-три дня в тепле и двухразовое питание могли спасти жизнь. Медицинские знания были не слишком нужны лагерному фельдшеру: из лекарств в санчасти было всего две бутылочки – касторка и йод – и кучка несвежих бинтов.

Разговоры о тюрьме и лагере, когда встречались Амусин, Эдельгауз и Ботвинник, бывали постоянно, редкий вечер обходился без них. Конечно, надо было тогда все записывать, но руки не доходили. Мы хотели даже поехать в те места, посмотреть, что там теперь, но жизнь заедала, да и события в стране не располагали к этому. В 60-х и 70-х годах жизнь как будто стала налаживаться. И. Д. Амусин стал известным востоковедом, защитил докторскую диссертацию по кумрановедению, хотя за границу, где печатались его труды, так ни разу и не был выпущен. Г. Е. Эдельгауз стал профессором, заведовал кафедрой, успешно занимался экономической наукой, писал книги. Правда, аспирантов он себе выбирать не

мог – их присылали «сверху». Карьера Марка Наумовича в принятом смысле слова не сложилась. Мне кажется, что дело было в нем самом. Он знал цену многим диссертациям, знал уровень науки об античности, которой в стране серьезно занимались всего несколько человек, знал кухню получения степеней и должностей – и не хотел продвигаться вперед таким образом. Однако работать было нужно. Марк преподавал латынь в школах, в медицинских училищах, читал лекции, занимался редактированием, составлением словарей, переводами, писал научно-популярные книги и статьи. Несколько ежегодных циклов его лекций в Эрмитаже привлекали не только специалистов, но и просто образованных людей. Глубокое владение материалом, логичное и четкое построение лекций, связь со многими смежными предметами и явлениями, остроумные характеристики, меткие сравнения и аллюзии доставляли слушателям неизменное удовольствие. Лекции и выступления Марка Наумовича никогда не были тривialsными.

Марк Наумович сравнительно редко участвовал в научных заседаниях и дискуссиях: там не без оснований боялись его едких замечаний, которые могли свести на нет длинные, псевдонаучные рассуждения. Ему было безразлично, какова должность докладчика или автора, а это не нравилось начальству. В моде было подхалимство, многословное восхваление всякой серости – все это Ботвиннику претило. Ему часто приходилось менять работу, хотя он был талантливым педагогом и ученым. Блестящие педагогические способности, желание передать молодежи то, что он знал, привлекало большое количество молодых людей, которые постоянно «паслись» в доме Ботвинников. Здесь всегда совместно праздновались всякие даты: Новый год, дни рождения. Не знаю, были ли еще в Ленинграде семьи, где все праздники родители и их друзья проводили вместе со своими детьми и их друзьями.

В последние годы жизни Марк Наумович много занимался переводами книг по своей специальности с разных языков. Трудно было себе представить, что такой веселый, иногда легкомысленный человек, всегда легкий на подъем (из больницы, где он лежал с болезнью сердца, он потихоньку

бегал в кино), может столь усидчиво и вдумчиво работать. Елена Феликсовна Пуриц, знаток немецкого языка и литературы, с которой он много вместе переводил, поражалась его неутомимости при проверке и перепроверке всевозможных реалий и деталей. Иногда он работал с соавторами, порой слабо подготовленными и не очень прилежными. Марк Наумович не только редактировал их текст, но и фактически делал работу заново, никогда не подчеркивая этого. Случалось, что друзей Марка Наумовича вызывали в Большой дом и спрашивали, кто у него бывает, что читают, о чем говорят. Однажды вызвали и его самого, прямо оттуда он пришел к нам. Был несколько взволнован и сравнивал нынешних «цивилизованных» сотрудников КГБ со следователями сталинских времен, безграмотными и грубыми. Суть дела, однако, изменилась мало.

В доме у Ботвинников всегда была необыкновенная атмосфера. Жена Марка Наумовича, Ирина Павловна Суздальская, широко образованная и глубоко интеллигентная женщина, участвовала во всей его жизни. Постоянно накрытый стол, редкая отзывчивость и скромность, желание всем помочь, всех приютить, дать совет, беспредельная любовь к семье, которую она не скрывала, — все это делало дом Ботвинников очень притягательным. В последние годы Марк Наумович тяжело болел, терял зрение, но плохое самочувствие старался скрывать и в отличие от многих своих ровесников не говорил о своих недомоганиях. Он мужественно держался до конца.

Потеряв Марка Наумовича Ботвинника, мы потеряли редкого человека и редкий гостеприимный дом. На таких домах держался старый культурный Петербург, которому пока не помогло возвращение прежнего имени.

## ВОСПОМИНАНИЯ О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ

Марк Наумович Ботвинник много занимался переводами: переводил книги по своей специальности с древних языков, с английского и немецкого. Мне хочется рассказать о работе над переводом двух книг, которым он посвятил последние годы своей жизни. Это фундаментальное исследование известного австрийского ученого Фрица Шахермайра о жизни и подвигах Александра Македонского (М., «Наука», два издания – 1984 и 1986) и один том из трехтомного труда немецкого античника Вальтера Йегера, посвященного культуре Древней Греции, – «Пайдейя» («Воспитание»).

Книга Шахермайра об Александре отличается страстным, энергичным, стремительным стилем. Сам автор считал художественность стиля непрременной принадлежностью исторического исследования. Он был уверен, что стиль книги должен соответствовать характеру исторического героя. Предъявляя самые высокие требования к стилю, он блестяще их воплощал. Перевод такой книги, конечно, очень труден.

Договор на перевод был сначала заключен издательством «Наука» с немецким античиком Б. Функом, свободно говорившим и читавшим по-русски. Он попросил Марка Наумовича взять на себя часть работы. Среди филологов всегда были люди, заинтересованные в заработке, и Марк Наумович часто делился своими заказами с другими переводчиками. Так поступил он и на этот раз: роздал отдельные главы, взяв на себя самую тяжелую и неблагодарную обязанность по редактированию и сведению воедино всего материала. Задача оказалась труднее, чем он предполагал: некоторые переводчики, надеясь на умелого редактора, допускали множество ошибок и небрежностей. Например, одна переводчица перепутала похожие немецкие слова «конь» и «обоз» (Roß и Troß) и ничтоже сумняшеся написала, что все снаряжение и продовольствие тащил за армией... боевой конь Александра. Ее,

по-видимому, не смутила явная переоценка лошадиных сил знаменитого Буцефала.

Когда Марк Наумович начал работать над рукописью, стало ясно, что некоторые главы придется писать почти заново, и к этой работе он решил привлечь меня. На меня в это время обрушились разные беды, и Марк Наумович правильно решил, что участие в такой работе может мне помочь. С удовольствием вспоминаю наши совместные переводческие «сеансы». В отношении Марка Наумовича к работе обнаружили неожиданные свойства: при всей его кажущейся не пунктуальности, небрежности и легкомысленности он оказался необыкновенно трудолюбив и все, что делал, делал не жалея себя. «Сеансы» обычно выглядели так: Марк Наумович приходил к нам и сразу начинал рассказывать что-нибудь интересное. Рассказчик он был редкостный, а говорил о самых разных вещах: и об античной литературе, и о своем лагерном опыте (без всякого налета трагизма, с грустной усмешкой); но любимым его жанром были «рассказы о людях, знакомых и незнакомых» – такую формулу предложила однажды его приятельница, к большому его удовольствию. Круг этих людей был очень велик. Имелись и некоторые постоянные персонажи, о которых, несмотря на всю свою доброту, Марк Наумович говорил с ехидством и насмешкой. Если в доме во время сеансов перевода были дети – моя внучка и ее подруга – то оживление усиливалось. Марк Наумович с серьезным видом напевал им не вполне приличные песенки, когда-то придуманные для собственных дочек: «По деревьям быстро скачет стая резвая макак – как, как, как, как. Ты поймать их торопись – пись, пись, пись, пись». Или: «Бедный мальчик штанов без бежит улицу через». Последнее приводилось как пример скверного стихотворения, и тут же приводились похожие образцы творчества современных авторов. Дети от восторга и смеха валились под стол, а Марк Наумович сохранял невозмутимую педагогическую мину. Наконец наступала минута, когда мне нужно было сыграть свою надзирательскую роль. Я говорила: «Теперь переводим» – и мы принимались за дело.

Я обычно диктовала первый, подстрочный вариант, благо могла обходиться без словаря, а Марк Наумович тут же

его редактировал. Дома он еще раз все исправлял, переписывал и отдавал на машинку, а после машинки выверял окончательно, стремясь к совершенству — даже на стадии корректуры. Книга об Александре Македонском получила высокую оценку и не случайно выдержала два издания.

Вторая книга, в переводе которой я участвовала, была «Пайдейя» Йегера. Переводить ее тоже было нелегко. Правда, автор не ставил перед собой особых стилистических задач, но писал он архаизированным, «гелертерским» языком, с длиннейшими и сложнейшими периодами, которые приходилось разбивать на несколько частей, чтобы придать тексту удобочитаемость. Я делала подстрочный перевод, но завершающая работа, которую выполнял Марк Наумович, оказалась для него особенно трудной: в это время он стал постепенно терять зрение. Читать он мог только с лупой; писать пытался толстым черным фломастером, крупными буквами, но и это вскоре перестало помогать. Вначале текст, написанный фломастером, переписывала дома Ирина Павловна, потом он дополнительно выверялся по английскому переводу книги Йегера и только после этого попадал на машинку. Позднее, когда Марк Наумович уже не мог писать, работа шла так: я читала вслух немецкий текст и свой подстрочный перевод, все это записывалось на диктофон, Марк Наумович дома прослушивал запись, наговаривал на диктофон отредактированный вариант, а Ирина Павловна переписывала его с диктофона. Если Марк Наумович был удовлетворен результатом, то этим дело и ограничивалось, но если возникали сомнения, то Ирина Павловна еще раз проверяла все по словарю, и все неясные места снова сличались с английским переводом. Только после окончательных уточнений Марк Наумович считал свою работу выполненной.

Если можно говорить о героическом труде переводчика, то труд Марка Наумовича Ботвинника следует с полным правом признать героическим и самоотверженным.

К воспоминаниям Елены Феликсовны Пуриц захотела добавить несколько слов ее внучка, Анна Малхазян.

Однажды на наш дом обрушилось большое несчастье. Узнав об этом, Марк Наумович пришел к нам, посмотрел на меня и сказал моей бабушке: «Теперь переводим». Они нача-

ли свою первую совместную работу над переводом книги об Александре Македонском. Марк Наумович был так заразительно и искренне увлечен книгой, что это подействовало и на мою бабушку: когда в книге дело дошло до смерти Александра, бабушка плакала.

Вокруг Марка Наумовича всегда было что-то такое, что заставляло соглашаться со всем, о чем он говорил, хорошо относиться ко всему, что его окружало. Бесконечные родственники, знакомые или просто первые встречные, крутившиеся по его необычной квартире, были заражены его удивительным обаянием. Очарование ему придавали даже те качества, которые в другом раздражали бы: некоторое легкомыслие и непунктуальность.

Приходил к нам Марк Наумович иногда часа на два-три позже назначенного времени. Пыхтя и стуча палкой, он на ходу доставал из карманов кульки с конфетами, сетки с пряниками и сообщал что-нибудь настолько неожиданное, что все упреки за опоздание оставались невысказанными.

Бабушка: Марк Наумович...

М. Н.: А вы знаете, на асфальте перед вашей дверью слово «г...» написано через «а», а надо через «о»!

Мама: Но вы говорили...

М. Н.: Да, чуть не забыл: у одного ленинградского академика, известного ученого, чирей на задку.

Я: Марк Наумович, мы вас ждали...

М. Н.: Ой, Ребеша, давно хотел научить тебя одному стишку... Далее следовал стишок, от которого бабушка с мамой краснели и опускали глаза, а я, давясь от смеха, бежала его пересказывать подругам.

Педагогичность, серьезность, голос профессионального лектора придавали этим изыскам человеческого остроумия особую прелесть. Все мои подруги хотели познакомиться с Марком Наумовичем, одна даже пошла провожать его до дома. Но, выйдя на улицу, он стал серьезнее обыкновенного и за всю дорогу не произнес ни слова.

После бурной встречи в передней все следовали в комнату, где на столе, готовом к работе, лежали словари, кипы бумаг, угощение, огромный рыжий кот, стояла яркая лампа и чайная посуда. Марк Наумович садился за стол, и начина-



лось чаепитие. Мама старалась приготовить что-нибудь вкусное, но Марк Наумович ее кулинарное искусство ценил невысоко. Когда мама, во времена тотального дефицита с большим трудом раздобыв необходимые ингредиенты, соорудила какое-то подобие сыра, Марк Наумович сказал строго и с явным осуждением: «Оля, зачем же вы положили в это сырое картофельное тесто так много чеснока?..»

Перевод начинался неожиданно. Вдруг все лишнее отодвигалось, очки нацеплялись на носы, руки брали карандаши – и начиналась работа двух сложнейших механизмов, покрытых седыми волосами.

## ДРУГ ДЕТСТВА

Марк Наумович Ботвинник – с этим именем у меня связаны воспоминания о детстве и юности, о среднем возрасте и периоде пожилых лет.

Он был старше меня на несколько месяцев, а наших отцов связывала испытанная временем дружба, возникшая за много лет до рождения сыновей. Эта дружба продолжалась вплоть до трагической гибели моего отца в 1922 году. Так уж повелось, что с детских лет и до седых волос, я ласково называл его Маркушей, а он меня Аликом.

Маркушин отец – Наум Рафаилович Ботвинник – окончил медицинский факультет Томского университета. Мой отец – Григорий Абрамович Гольдберг – окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Отцов наших объединяли интересы в области еврейской общественной деятельности. В конце 90-х годов прошлого столетия наши отцы принимали активное участие в работе Историко-этнографической комиссии общества распространения просвещения среди еврейского населения России. Позже эта комиссия была преобразована в Еврейское историко-этнографическое общество, труды которого были опубликованы в трех объемистых томах. Кроме того они, каждый в своем направлении, занимались вопросами еврейского образования и входили в руководящие комитеты Общества распространения просвещения среди евреев России (ОПЕ) и Общества оздоровления евреев (ОЗЕ).

Наше детство совпало с тяжелым во всех отношениях временем становления Советской власти. Сначала мы учились в разных школах, и в этот период, как я вспоминаю, наши детские отношения определялись теплыми взаимоотношениями между нашими семьями. Повзрослев, мы приняли эста-

фету отцовской дружбы и пронесли ее через всю жизнь. Нас не связывала общность интересов по тем наукам, которые мы изучали в высшей школе. Марк был историком, я инженером-металлургом, но у нас были общие интересы в других областях и совпадали взгляды на многие жизненные проблемы. Это являлось той силой, которая вместе с памятью об отцах укрепляла и охраняла наши заботливые, бескорыстные дружеские отношения.

Очень многое не сохранилось в памяти, многое видится только в общих чертах. Утрачены подробности событий детства почти семидесятилетней давности. Их невозможно восстановить и изложить на бумаге.

В школу в доме 5 по Разъезжей улице мы пришли в восьмой класс из разных школ, где закончили семилетнее образование. В памяти сохранились отдельные черты образа Маркуши в школьной обстановке. Один из блестящих учеников в последних классах школы, он вместе с другими (Сазоновым, Арабидзе, Калитеевским и несколькими девочками) неизменно входил в группу лидеров класса и в целом – школы. Одно время был председателем класса. Поскольку ранее я не встречался с Маркушей в школьной обстановке, на меня произвела впечатление присущая ему какая-то особая любознательность и то, как он независимо держался среди сверстников, и вместе с тем был общителен, не чужд юмора и любил короткие смешные стишки. В старшем возрасте его любознательность получила более глубокий внутренний смысл.

Марк постоянно проявлял интерес к окружающему его миру. Создавалось впечатление, что он стремился лучше узнать этот мир не только через понимание глобальных явлений и процессов, но и через понимание частных вопросов, определяющих жизнь человека. Поэтому не вызвало удивления, когда он через много лет после окончания института заинтересованно расспрашивал меня о моей работе, о бронзовом и чугунном литье, о рабочих, которые заняты в этом производстве. На первый взгляд все это ничего общего не имело с его специальностью.

Лет восемь тому назад Марк приезжал к нам в деревню Островенка, на берегу реки Луги, где мы отдыхали летом. И

узнав, что на другом берегу расположен пансионат, он в день приезда предложил совершить туда прогулку. Уговоры побереечь свое здоровье и не делать этого не помогли. Мы на лодке переправились на другой берег. Во время прогулки Марк оживленно расспрашивал меня о пансионате, осматривал спортивные и игровые площадки. Мы заходили в жилой корпус, в столовую и, кажется, в библиотеку. Разговаривали с отдыхающими. Затем довольный прогулкой Марк и я по крутому спуску вышли на берег и отправились в обратный путь. На другой день мы совершили сравнительно дальнюю прогулку по окрестностям, подошли к местной электростанции, и Марк подробно расспрашивал обо всем виденном на нашем пути. Вечером того же дня мы его провожали обратно в город...

Возвращаясь к школьным годам, вспоминаю, как Марк в очередной раз вместе со сверстниками участвовал в оживленной дискуссии о литературных героях русских классиков. Такие диспуты велись по инициативе преподавательницы литературы, которая давала дополнительные уроки для расширения кругозора выпускников.

Как в тумане вспоминаются проделки, творимые нами, учениками старших классов. Сохранилась в чудом уцелевшей старой тетради случайная запись, которая не характерна, но все же интересна как пример безобидных юношеских шуток. В девятом классе, летом 1933 года, в отсутствие отлучившихся на несколько дней родителей, группа мальчиков и девочек собралась на квартире у Марка, и он преподнес девочкам огромный букет подобранных с большим вкусом цветов. Эффект был потрясающий. Впоследствии Марк мне открыл секрет: эти цветы были преподнесены в тот день благодарными пациентами его отцу – Науму Рафаиловичу. Мы потом долго вспоминали эту выдумку.

Год окончания школы положил начало нашему вхождению в студенческую жизнь. Марк поступил на истфак Университета, а я – в Политехнический институт на металлургический факультет. Но это не прервало нашей дружбы, хотя у каждого из нас изменились интересы и появились новые друзья. Длительные перерывы между встречами не сказались на наших отношениях, ибо оставались неизменными узы, кото-

рые нас связывали. При встречах после долгого перерыва нам не приходилось искать темы для обмена мнениями. Мы вели разговор так, как будто виделись и беседовали накануне.

Большим потрясением для нашей семьи была весть об аресте Марка. Угнетала абсолютная невозможность помочь ему. Вся наша семья была в шоке, и я ходил как потерянный, не зная, что предпринять.

Представлялись его допросы и... все остальное, что бывало в таких случаях. В то время, как и по всей стране, в Политехническом происходили многочисленные аресты студентов и преподавателей, и каждый, не говоря этого вслух, ожидал своей очереди.

После возвращения из лагерей зловещая тень ГУЛАГа продолжала его преследовать. По неписаным законам государственной политики того времени Марк был отстранен от преподавательской деятельности в Педагогическом институте им. Герцена. Но он не склонил головы, не замкнулся в себе, не оставил занятий любимым предметом. Он нашел пути делиться своими знаниями с широкой аудиторией людей различного уровня. Это и преподавание латыни, работа над книгами по истории Древней Греции и Рима и подготовка их к изданию; это серьезные переводы по той же тематике и, наконец, это чтение лекций в лектории Эрмитажа.

Допросы «с пристрастием» и тяжелая лагерная жизнь подорвали здоровье Марка, но он, с честью выдержав все «особенности лагерных условий», смог сберечь от коррозии лучшие черты своего характера. А в дальнейшем присущий ему аналитический склад ума способствовал накоплению глубоких знаний, далеко выходящих за пределы исторической науки, которой он был предан всю свою сознательную жизнь. Многие (в том числе и я) часто обращались к Марку за справками по самым различным вопросам. И он в большинстве случаев с завидной легкостью давал исчерпывающие ответы на сложные вопросы не только по истории, но и по широкому кругу знаний из смежных областей. Его энергия вызывала восхищение.

Со временем к Марку пришло признание. Он приобрел известность как историк, мастер перевода и популяризатор любимого предмета. Многие книги, которые Марк задумал и

в создании которых участвовал, оказались интересны читателям и часто переиздавались. Дважды, например, издавался «Александр Македонский», многократно выходили книги для чтения по Древнему Риму и Древней Греции, а «Мифологический словарь» с 1959 по 1994 гг. выдержал в России 7 изданий, не говоря о переводах на другие языки. В книжном обозрении (№ 18, 1988) читатели назвали его «Жизнеописание знаменитых греков и римлян» в числе лучших книг, вышедших в 1987 году.

Марк был прирожденный лектор. Он любил эту работу и явно нуждался в большой аудитории для выражения своих мыслей. Отлученный от работы в вузе, Марк ценил возможность чтения лекций в Эрмитажном лектории. Привожу сохранившиеся в памяти некоторые подробности, относящиеся к этой его работе.

Это было двадцать лет тому назад. Впервые в Эрмитаже организовали чтение лекций для слушателей, желающих изучать искусство, историю и культуру разных стран и эпох. Читалась первая лекция в помещении Эрмитажного театра. По словам присутствовавших, она прошла блестяще, при большом стечении слушателей. Такие лекции по истории и культуре Древней Греции и Рима Марк затем читал ежегодно. В дальнейшем эти лекции читались также и в Лектории на Литейном проспекте, и в зале Мраморного дворца на Миллионной улице.

Кроме публики, приходившей по абонементам, послушать Марка собирались знакомые, друзья, бывшие ученики. Бывало, что на лекции приходила его жена, а позже дети и внуки. И мы с моей сестрой Фридой Голдберг старались не пропускать эти лекции. Мы приходили на них в приподнятом настроении, ожидая услышать много интересного, к тому же и в прекрасном изложении. Слушали, отключаясь от всего окружающего, переносясь в другой мир.

Марк читал лекции увлеченно и доходчиво. Его голос, усиленный микрофоном, звучал «... среди глубокой тишины всей переполненной аудитории – той особой напряженной тишины, которая заостряет и толкает вперед мысль говорящего, смыкает автора со слушателями». Так, предельно точно, словами известного до революции адвоката и политического дея-

теля М. М. Винавера, можно охарактеризовать ту атмосферу, которая царила в зале во время чтения лекций.

К этому можно добавить, что многие слушатели записывали лекции, некоторые торопились прийти пораньше, чтобы занять самые удобные места, опаздывавших практически не было. После окончания каждой лекции окруженный заинтересованными слушателями, усталый от напряжения Марк еще долго отвечал на вопросы и обстоятельно разъяснял не включенные в лекцию исторические подробности.

Следует выделить две особенности, характерные для его манеры компоновать и излагать сложный для восприятия материал: во-первых, на своих лекциях он создавал исключительно доверительную атмосферу, способствующую установлению тесного контакта со слушателями. Во-вторых, содержание лекции по древней истории ему часто удавалось соотнести с проблемами современности, и слушатели учились глубже понимать и оценивать текущие события. Можно полагать, что такой эффект достигался благодаря целенаправленному, тщательному подбору исторических фактов, их объективной оценке и прекрасной технике изложения.

Марк любил людей и был щедр на добрые дела. Когда надо было помочь, он немедленно брал на себя инициативу и, срочно подключив к делу своих многочисленных друзей, действовал очень успешно. Не могу, например, не упомянуть, как несколько лет тому назад у меня был сильный сердечный приступ. В домашних условиях снять боли было невозможно. Моя сестра и жена Марка Ирина доставили меня в больницу. И кто знает, что было бы с пишущим эти строки, если бы не организованная Марком помощь врачей специализированной больницы, куда скорая помощь отказывалась меня везти.

И это не исключение. Подобных случаев с участием Марка можно вспомнить множество. Вот почему в квартире Ботвинников на Стремянной улице, а позднее на улице Рубинштейна всегда был «горячий» телефон. Приходили, часто приезжали и останавливались знакомые или знакомые знакомых люди. У всех у них были какие-то неотложные вопросы к Марку; приносили книги, материалы для просмотра, письма. В этой квартире каждый встречал и находил то, что ожидал найти, и все чувствовали себя как дома.

При подготовке и изложении этих отрывочных и схематичных воспоминаний я постоянно мысленно обращался к Марку. И теперь, заканчивая изложение, я с душевным трепетом прерываю свидание с дорогим для меня Человеком, любимым другом.



## СТРЕМЯННАЯ 5 ПРОТИВ ЛИТЕЙНОГО 4

Один из вопросов, который требует ответа, мог бы звучать так: «Как Невский проспект победил площадь Пролетарской Диктатуры? Как обладавшая океанским флотом, межконтинентальными баллистическими ракетами, ОСВОДом и ДОСААФом Советская власть так быстро и бесславно рухнула в конце 80-х годов?» В этом процессе роль таких людей как Марк Наумович, создававших вокруг себя мощные неформальные структуры, живших как бы вне советского режима, огромна. Вообще в истории борьбы за свободу в нашей стране количество написанных страниц и даже срок заключения по политическим обвинениям не является главным мериллом эффективности. Люди типа Николая Станкевича, Николая Огарева, даже Анны Ахматовой противостояли власти не открытой борьбой, а тем, что не считались с нею в своих разговорах и поведении. Они были свободными, потому что они такими родились и хотели быть. В этом ряду и Марк Наумович.

Значение Марка Наумовича в жизни нашего города было исключительно велико и обычным некрологическим стилем трудно описываемо. Так сложилось, что Марк Наумович реализовался прежде всего не в науке. И в этом нет ничего зазорного. Карьера вузовского преподавателя прервалась в 1956, но его вклад в воспитание юношества был гораздо больше, чем у десятков более или менее скучных реакционных и либеральных профессоров ленинградских вузов. Попытаюсь назвать некоторые стороны его личности, которые привлекали к нему множество людей от четырех до девяноста лет вне зависимости от национальности, гражданства, пола и социального происхождения.

Роль Марка Наумовича Ботвинника и его семейства в жизни моего отца, Якова Соломоновича Лурье (далее Я. С.), была огромной. Я. С. был воспитан своим отцом, учителем Марка Наумовича, Соломоном Яковлевичем в несколько ригористическом мировоззрении, восходящем к французскому Просвещению – все люди от рождения равны, поэтому любовь к ближнему не должна превосходить любовь к дальнему. Грубо говоря: был бы человек хороший, а является ли он родственником или компатриотом – дело десятое. На это накладывалось еще и марксистское мировоззрение. Советский строй – сверхмонополия. Правящий класс – номенклатура, и чувство классовой ненависти к ней естественно и прогрессивно. Таким образом, друг в этом враждебном мире – это прежде всего идеологический друг, и это – трудящийся, а не эксплуататор. Имплицитно в такой установке содержалось даже некоторое недоверие к родственникам и компатриотам. Общение с дядей или кузенком, потому что они – дядя или кузен, считалось Я. С. ритуальным, пошлым действием, которое можно вынести разве что из вежливости. То же касалось и евреев как таковых. Нормальный еврейский инженер, пытающийся порассуждать с ученым евреем (в этой роли выступал отец), о великих сынах Израиля (персонажи, в зависимости от ситуации, могли быть разными – от Кагановича до Моше Даяна, от Эйнштейна до Ландау, от Троцкого до Ильи Эренбурга, от футболиста Левина-Когана до Дизраэли) вызывал у него зубовный скрежет. Оставались близкие по мировоззрению друзья.

Я. С. в своем быту был человеком кабинетным. С юности часов двенадцать в день он проводил за письменным столом, прерываясь только лишь для того, чтобы послушать Би-Би-Си. Из дома выходил всегда с определенным делом – Публичка, кино, театр. При этом, будучи человеком живым и крайне политизированным, он остро нуждался в притоке свежей информации, новых идей.

Мой дед считал Марка Наумовича самым способным своим учеником и умнейшим из известных ему людей. За глаза он почтительно называл его «адвокат» и советовался с ним и по научным, и по бытовым вопросам. Это отношение унаследовал и мой отец.

Марк Наумович Ботвинник был для него и главным, ближайшим другом, и знатоком реальной жизни, и поставщиком информации, и бескомпромиссным спорщиком. Не друг, скорее старший брат. Так что мне он приходился как бы названным дядей.

Марк Наумович был любопытным к жизни человеком, а значит не пуристом. Ему был любопытен и чеченец-солагерник, откусивший человеку, оскорбившему его, нос, и разнообразные сотоварищи по камере в Большом Доме: чистильщики сапог-айсоры, профессора, секретари райкомов, китайцы из прачечных. Он мог выпить с водопроводчиком и прочесть лекцию о Мегарах для любой аудитории. Это был человек, которому было интересно находиться в любой нескучной компании и который в любой такой компании становился неформальным лидером.

Еще одно яркое отличие Марка Наумовича от других виданных мною людей – ненависть к пошлости. Недаром его любимым писателем был Чехов. Пользуясь лексикой поколения его внука, Марк Наумович признавал только радикальные идеи. Любое обсуждение, не содержащее свежей мысли и клонившееся к заезженной, уже слышанной им оценке существующих фактов, взрывалось им неким, иногда намеренным парадоксом. Надо сказать, что в период всеобщей любви к Ельцину и Гайдару он одним из первых указывал размягчившим от либерализма сотоварищам на прогрессирующее обнищание народа. М. Н. понимал не только правду Октября, но и правду Великого перелома. В его детских воспоминаниях о нэпманах сквозила натуральная социальная ненависть. Помню, в частности, чудную историю про нэпмана, пришедшего в Анненшуле, чтобы поучить свою дочь вожжами за плохую успеваемость.

Марк Наумович был кастовым человеком. Он был друг своих друзей и враг их врагов. Человек необычайно социально активный и привлекательный, он знал тысячи разнообразных лиц, которые желали и могли ему помочь. Когда происходило его знакомство практически с любым новым человеком, демонстрировался некий фокус: в течение нескольких минут М. Н. обнаруживал множество общих знакомых с вновь представленным ему. Безразлично, был ли этот чело-

век инженером из Нижнего Тагила, оксфордским профессором или одноклассником внуков. О каждом он обладал изначальной огромной и неожиданной информацией. Он ничего не забывал, потому что люди вообще были ему интересны. Потенциальный противник с Литейного 4 со своим компьютерным центром, штатом осведомителей, оперативников и «топтунов» заведомо ему проигрывал.

Мой дед не зря называл Марка Наумовича адвокатом. Огромные познания о людях и ситуациях позволяли ему быть и слыть в городе замечательным советчиком – тем, что в еврейском быту называется ребе. Квартирный конфликт с алкоголиком, сложные отношения с парткомом на работе, все, что связано с активностью гэбэшников, – здесь он был незаменим.

Я знаю множество ситуаций в жизни моего отца, когда разумные советы его ближайшего друга выручали его из труднейших жизненных коллизий. В 1949 отца начали таскать в Большой Дом, где ему предъявили, в частности, обширный, хотя и не вполне конкретный донос его бывшего приятеля по семинару, который вел М. Д. Приселков. Гэбэшник требовал саморазоблачений, повторяя ставшую хрестоматийной в нашем доме фразу: «Давайте, Лурье, давайте. Не тяните кота за хвост». Отец уже был безработным, и ситуация клонилась к аресту. Именно Марк Наумович решительно настоял на бегстве из Ленинграда, которое было тем более разумно, что звонки из Большого Дома продолжались и после отъезда. Ясная голова, спокойствие, знание жизни, которыми в высокой степени обладал друг, значительно облегчили отцу и ту тяжелую ситуацию, которая сложилась в начале 80-х годов. Был арестован А. Б. Рогинский, числившийся референтом Я. С., и тот выступил на процессе свидетелем защиты. Неожиданно обострились отношения отца с его начальством в Пушкинском Доме. Этот конфликт, стоивший отцу работы, был основан на бессмысленном клубке сплетен, не имевших никаких фактических оснований. Уйдя с работы, отец начал писать книги, у которых не было ни малейших шансов появиться в советской печати. Марк Наумович был их первым внимательным читателем и критиком и помог отправить рукописи за границу.

И в моей собственной жизни «салон на Стремянной» сыграл исключительно важную роль. В 1969 году, будучи романтически настроенным придурком, я вместе со своим, ныне покойным, приятелем и однокурсником Сережей Чарным основал глубоко законспирированную тайную антисоветскую организацию. Результатом ее деятельности стал написанный мною черновик листовки, начинавшейся словами: «Товарищи студенты ЛГУ! Приближается столетие со дня рождения В. И. Ленина». Далее студенты ЛГУ призывались к строительству социализма с человеческим лицом и борьбе с брежневской номенклатурой. Этот черновик я немедленно потерял в литературном клубе «Дерзание» ленинградского Дворца пионеров, питомцем коего я был. Рукопись нашла бдительная уборщица и, несмотря на попытки директора клуба А. М. Адмиральского замять дело, отнесла директору дворца, а та обратилась в соответствующие органы. Я был вычислен оперативным путем. Так как в России «все тайна, но ничто не секрет», от моей однокурсницы Татьяны Котовой (она – дочка заведующего нашей кафедрой математической кибернетики) мне стало известно, что я вычислен. Марк Наумович разработал гениальный план, согласно которому листовка представляла собой составную часть неоконченного романа из студенческой жизни, который я под бдительным отцовским взором вынужден был написать. Кроме того на Стремянной устраивалась репетиция допросов в КГБ, где М. Н. играл роль строгого следователя, а я все более стойкого подследственного.

В 1971 году меня эффектно вывели с зачета по динамическому программированию (так до сих пор и не знаю, что это такое) и отвезли во дворец Белосельских-Белозерских, где помещалось Куйбышевское районное отделение КГБ. Допросы, которые мне там учиняли, показались мне просто игрушкой по сравнению с теми мучениями, которые я испытывал в доме Марка Наумовича. Я немедленно выдал властям написанный мною роман (он назывался «Менделеевская линия») и на голубом глазу обсуждал с чекистами его содержание. То, что я не подвел ни себя, ни других и отделался изгнанием из Университета, – главным образом, заслуга Марка Наумовича. Вообще же эта история имела весьма печальные по-

следствия – Адмиральского выгнали с работы, и он вскоре покончил жизнь самоубийством.

Салон на Стремянной (а потом на Рубинштейна) в жизни десятков самых разных людей играл определяющую роль. Марк Наумович был не просто человеком, а целым социальным институтом – университетом, юридической консультацией, хозяином клуба, гуру.

## КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА<sup>1</sup>

Эта большая кухня, чувствуется, повидала много гостей, праздников, смеха и слез. За большим столом сидит старик. Необыкновенная личность узнается с первого взгляда. За белой бородой мудреца прячется шаловливая улыбка вечного мальчика. Глаза, которые практически больше не видят, остаются удивительно живыми и отражают веселое внимание и слегка ироничную доброжелательность, с которыми старик рассматривает окружающее.

Он не пропускает ничего из происходящего и говорящегося вокруг него, подчеркивая то или иное замечание резким комментарием или шуткой. Больше всего поражает исходящее от него невозмутимое спокойствие.

Мы разговариваем по-немецки. Его устаревший язык перестрит литературными цитатами – свидетельство терпеливого и тщательного изучения, сохранявшего его разум в целостности тогда – в те бурные годы. И действительно, его память производит глубокое впечатление. Например, он подробно вспоминает книгу Селина «Путешествие на край ночи», русский перевод которой, как я позже обнаружил, появился и исчез в 35-м году.

Старик быстро выдыхается. Он постоянно экономит слова. Но если он не пускается в длинные речи, то не из-за слабого дыхания, а скорее потому, что они ему не нужны. Его стиль – афоризм, в котором мысль, созданная долгим опытом, выражается в одной или двух фразах. Например: «Французы нам подарили слово «кошмар». Оно нам очень пригодилось».

Я вспоминаю оживленную беседу о тогдашней ситуации в России, во время которой он сказал только: «Сегодня Ель-

---

<sup>1</sup> Перевод с французского Кристины Семба.

цину нужен Жириновский, как Сталину был нужен Гитлер, — чтобы самому выглядеть меньшим злом. Но меньшего зла не бывает. Зло есть зло». Не было ничего наставительного в его словах, только простые очевидности, обычно скрываемые преобладающей ложью. И ничего плаксивого — в его рассказах о тяжелых эпизодах жизни фарс часто примешивался к трагедии. Истории ужаса и абсурда нередко заканчивались взрывами смеха. Впрочем, не все его слова надо понимать буквально: я, например, не уверен, что молоко всех трех его кормилиц непрерывно скисало от выстрелов 1917 года. Преувеличение оказывается здесь не вульгарным украшением грустной реальности, а притчей, эстетическим средством на службе истины и веселого знания. Глубина юмора связана с глубиной культуры; возможно, это и есть то, что называют мудростью. Во всяком случае, это лучшее средство от тоталитаризма.

В Марке Наумовиче было что-то от Диогена, но от Диогена гостеприимного и радушного, Диогена, успевшего насладиться обществом своих близких и передать им свою любовь к жизни.

Вставая в середине разговора, он говорил: «Извините меня, все это очень интересно, но теперь я должен отдохнуть». И мы оставались, расстроенные тем, что разговор прервался и мы не можем расспрашивать дальше. Позже мы слышали голос его прелестной жены, тихо читавшей ему в соседней комнате. Уезжая, я думал: в следующий раз мы будем говорить дальше, я должен спросить еще о том и о том, и о том. Но следующего раза не было. Не знаю послышалось ли мне, как он со своей обычной вежливостью тихо сказал: «Извините меня, все это очень интересно, но теперь я должен умереть».



## ОГЛАВЛЕНИЕ

### ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ И ОЧЕРКИ М. Н. БОТВИННИКА

Из древнейшей истории Мегар .....	5
Корпус Феогида как источник по истории Мегар .....	30
Книга об Александре Македонском Ф. Шахермайра .....	46
Спарта и Афины. Слабость силы и сила слабости .....	67
Древний Рим и его культурное наследие .....	76
Жизнь античных мифов .....	87
Иван Иванович Толстой и его время .....	95
Латинский язык в советской школе .....	107
Камера № 25.....	114
Список трудов М. Н. Ботвинника .....	129

### ВОСПОМИНАНИЯ УЧЕНИКОВ И ДРУЗЕЙ

Я. С. Лурье. Вольнодумец .....	137
М. А. Дандамаев. М. Н. Ботвинник.....	157
Ф. П. Красавин. Опыт открытой жизни в закрытом обществе .....	159
А. С. Пинскер. Жил замечательный человек .....	178
М. Ю. Герман. Латинист .....	183
Ч. А. Мезенцева. Учитель .....	192
Б. А. Зарайская. «Латынь из моды вышла ныне...» .....	195
А. Я. Пругалов. Подарок судьбы .....	199
А. И. Зайцев. М. Н. Ботвинник: труды и дни .....	207
М. Б. Рабинович. «...Но с благодарностью были!» .....	213
Л. М. Стродт. Годы дружбы .....	220
Е. Ф. Пуриц и А. Малхазян. Воспоминания о совмест- ной работе.....	224
А. Г. Гольдберг. Друг детства .....	229
Л. Я. Лурье. Стремянная 5 против Литейного 4 .....	236
Гийом Паоли. Короткая встреча .....	242